

Марина Заречная

ИСПОВЕДЬ НОРМАЛЬНОЙ СУМАСШЕДШЕЙ

НОВАЯ ГАЗЕТА Москва 2006 ИНАПРЕСС Санкт-Петербург 2006

Маме

Жизнь — это мимолетный цветочный сор и немного грустно.

Это вмятины на траве, стойко хранящие силуэты отдохавших на ней тел. Мотыльковый трепет, легкий солнечный свет, кружево теней от узорчатой листвы на тропинке... Не Вечность, а мгновение. Я знаю: в Саду Жизни Его нет. Но Он есть в Саду моей Памяти. А это уже кое-что.

У профессора

Я заболела весной, в апреле. Почти пятнадцать лет назад. Любимый человек уехал — я пыталась его материализовать. Мне нужен был двойник — с «оригиналом» я жить не могла — он был женат, у него дочка училась в четвертом классе.

В процессе «материализации» я мысленно столкнулась с одним не то ангелом, не то инопланетянином, который кружился над землей, и ему некуда было воплотиться. Я за компанию решила и его через себя воплотить. Так родился образ, который я со временем назову Гарри. Он изначально был соткан из моей любви.

Тот первый раз происходил на квартире моего старшего друга, профессора, к которому я удрала, скрываясь от мужа. А за мужа я вышла замуж, чтобы отрезать любимому человеку пути ко мне. Вышла замуж и подружила их, чтобы через друга он не смог переступить. Вот такая я авантюристка.

Хорошо помню тот первый яркий день на квартире у профессора. (А мне говорят, что бред — это беспомыслие. От чего же я его хорошо помню?)

За окном летали птицы и струился солнечный свет. Над кроватью у профессора висела репродукция картины Рембрандта «Даная». Вот и я, как она, хотела принять в себя солнечный свет. Окружающие меня не понимали: примчался мой муж с моей сестрой, вызвали психиатра, решили меня увести в больницу. Я садилась в машину, именуемую в народе «психовоз», в полной уверенности, что меня везут на свидание к любимому человеку в березовую рощу. Я уже видела его внутренним взором: высокий, широкоплечий, в синем плаще, в серебряной седине кудрей, откинутых назад с высокого чистого лба.

Профессор, опекавший моего героя (а я к тому же писала о нем очерк в своей газете), послал ему телеграмму с просьбой срочно приехать. А сестра, когда меня уже увезли, послала ему письмо с требованием высказаться о его намерениях на мой счет. В семье у него от этого письма был скандал. И чего они к нам привязались? Жаль, мама тогда еще не жила в Москве — она, быть может, просто дала бы мне отоспаться. Вот все, что нужно, по-моему, для преодоления психических приступов моего типа: отоспаться. Но окружающие были напуганы моими визитами к окну и думали, я хочу выброситься. А я просто смотрела на птиц и впитывала солнечный свет.

На экране сомкнутых век

А накануне того дня, ночью (я примчалась к профессору около полуночи) ко мне впервые явились видения. Или как там еще можно назвать проекцию работы подсознания на экран сомкнутых, а то и открытых век? Сны наяву, грезы, видения...

Надо сказать, что мы с друзьями с детства бредили коммунизмом (бредили в обычном, не психиатрическом смысле этого слова). Поэтому неудивительно, что первым ко мне явился (или я к нему?) Карл Маркс. Перед глазами появилась брусчатка мостовых, пушечные ядра — очевидно, Французская революция — и потом Маркс в виде чугунного памятника. Он на моих глазах отливался в памятник, а я отлетала с земли, и вслед мне грохотал его голос почему-то по-русски: «Запомни! Высшее творчество — социальное!» Я запомнила.

Потом пожаловали Ленин с Крупской. Опять брусчатка, только уже московская: Ленин и Крупская идут по Москве за гробом Инессы Арманд. А над ними (над нами? ибо я тоже, очевидно, рядом иду, раз вижу брусчатку под ногами) несется песня на мотив песни «Песняров» про Олесю: «Инесса, Инесса, Инесса! Там птицы стучат в поднебесье... Остаешься со мною, как песня!»

Какие-то, вишь, еще железные птицы в поднебесье подвернулись... А в итоге нарисовался мой Учитель, сбежавший в свое время ко мне от жены. Он у меня перед глазами заплясал мелким бесом под мелодию старой студенческой песни, которую он очень любил: «Они песни поют, они горькую пьют и еще кое-чем занимаются. Через тумбу-тумбу раз...» и так далее. Я подумала, что Учителя моего простил кто-то там наверху — и он обрел свободу. Вслед за ним должна была, я чувствовала это, пожаловать еще и его жена. Наши общие друзья называли ее «ворожеей», но тут уже я струхнула и — очнулась на квартире у профессора.

В Ганнушкина

Этот сюжет видений начался еще на квартире у профессора. В отличие от встреч с Марксом и Лениным, исполненных в грязновато-бурых, тревожных тонах, этот сюжет шел в светлом, блистающем тоне. Он дал повод моим друзьям называть меня ясновидящей. В нем шла речь о двух этапах некоего переустройства мира (назовем его привычным словом «перестройка»), которые я «предвидела» еще в тысяча девятьсот восемьдесят первом году, на заре своей болезни. Так вот, тот первый этап был замешан еще на брусчатке, по ней спешил мой Учитель на какую-то свою борьбу в сопровождении общей для обоих этапов мелодии о Беловежской пушце. Только в первом этапе мелодия звучала ускоренно, твердо, стаккато, а второй... О, это целая поэма! Это был наш период — мой и моих ребят, которых я растила в клубе при редакции в начале семидесятых годов. Этот сюжет я досматривала уже в больнице.

Вот его описание: на фоне яркого солнечного синего неба торжественно взмывают ввысь в ритме с плавной, замедленной мелодией «Беловежской пуши» ослепительно белые фонтаны снега. А на их фоне распоясавшиеся солдаты в расстегнутых гимнастерках играют с мальчишками в снежки. Это была картина ослепительного счастья. Но в ней была капелька крови, которая вплелась в этот сюжет с моего полотенца в изголовье кровати: очевидно, кровь шла носом. Я смотрела эту картину с ликующим чувством! А сама в это время лежала на вязках — в больнице привязали к кровати руки-ноги и плечи («хомут»).

Это — утром. А ночью того дня, когда меня привезли, мне убедительно казалось, что сейчас меня позовут какие-то умные люди, которые вершат судьбы — в Бога я тогда еще не вполне верила. Мне казалось, то есть я была убеждена, что они находятся надо мной, на втором этаже, и что у них там совещание. Люди в кожаных куртках из песни про летчиков: «Кожаные куртки, брошенные в угол». А при приеме в больницу я думала, что меня встретят кагэбэшники, ведь все знали, что психушки — для диссидентов.

Но принял меня уставший врач, по виду которого было ясно, что к КГБ он не имеет никакого отношения. Тогда мне привиделось, что после моего пребывания в больнице (маниакал, то есть подъемно-бредовое состояние, всегда имеет в себе манию величия) двери всех психбольниц распахнутся и больные выйдут на свободу, распевая пени и звеня бубенцами. И вот сейчас мне кажется, что это исполнилось, что и впрямь все психи — на свободе. Взять ту же Госдуму, митинги нынешних коммунистов, теледебаты политиков...

Но нет, политике — не место в моем рассказе. Тогда же, в тысяча девятьсот восемьдесят первом году, я была оставлена наедине с реальностью психбольницы: никто меня никуда не позвал. Первые дни были в остром бреде и на сильных уколах. А я еще дезориентировала врачей криками типа «Не стреляйте в белых лебедей!» Это я продолжала в уме писать начатую статью о директоре магаданского детдома, столкнувшегося с золотой мафией, которого хотели спасти его ученики, славшие ему письма со всей страны — как белых лебедей. У врачей же одно на уме: если «не стреляйте!», то мания преследования и, значит, дополнительные уколы. На меня приходили смотреть как на музейный экспонат: дело в том, что в бреде, в отличие от всех остальных здешних буйных, я не употребляла матерных слов. На меня смотрели с уважением и больные, и санитарки. Одна девушка-экстрасенс назвала меня Джульеттой, ибо в бреде я постоянно звала своего любимого. Я же продолжала свои УСИЛИЯ по материализации, пользуясь формулой Маркса и философа Ильенкова о том, что личность — это ансамбль отношений. Вот мне и казалось, что если я воссоздам из разных окружающих меня в больнице людей этот «ансамбль» (из глаз, лиц, фигур), то возникнет, зародится, как узелок на переплетении ниток, и мой любимый.

Человек всегда найдет, на чем свихнуться. Я вот начала с марксизма. А в последнее время и до религии дело дошло.

Именно больница имени Ганнушкина стала моими университетами жизни. Тут собрался весь «цвет общества»: наркоманки, воровки, проститутки с редкими вкраплениями перепутанной интеллигенции. Тут я научилась драться, разнимать дерущихся. Я и из вязок в бессонные ночи быстренько научилась выкручиваться, доводя до бешенства санитарок.

Первое время уколы мне делали насильно. Я кричала, что они убьют моего ребенка. Из каких-то иных измерений в мою бедную голову занеслась мысль, что я беременна (от солнечного света, наверное), но не реальным ребенком, а новой эпохой под названием «Золотой Век Детства». Вот я и вопила, что они (медсестры и санитарки) мне его изуродуют.

Но зла я на них не имела, называла их куропатками, вспоминая стихи Николая Заболоцкого о

Марине Цветаевой:

Ах, как скучно жить Марусе в городе Тарусе —

Петухи одни да гуси — Господи Иисусе...

А главное — я хотела помочь всем больным, каким-то шестым чувством понимая, что' они хотят выразить, даже хроники, вообще не возвращающиеся в нашу реальность.

Врачи меня любили. Жаль только, давали себе право судить о моей личной жизни. Они вынесли приговор, что мой любимый человек и есть моя болезнь, мой диагноз. Вот тут они меня и сломали (но только на время).

Я безвольно кивнула, и заведующая отделением (потом ее сменили), торжествуя, посмотрела на младшую коллегу. Она вообще и раньше радостно-победно смотрела на меня, приговаривая: «Хорошо видеть результат своей работы!» Но в тот раз, когда я покорно кивнула и заведующая, было, пошла дальше, младшенькая воскликнула, уличая меня: «Да Вы смотрите, у нее слезы на глазах!» — «Это слезы радости!» — победно, как отрезала, заявила заведующая, крутанув хвостом туго стянутых волос. Вскоре началась депрессия. Так я выразила в стихах ее суть уже после больницы:

Все соборы беззвучно изорвали,

Вместо горных вершин — суховеи.

И холодная зелень мая

Стала тусклой мечтой о снеге,

Обесцвеченной и отпечетой,

Как отцветшие волосы

Сольвейг.

И бредут в немоте поэты,

И куда-то пропали боги.

Затяну поясok печали,

перестану дышать тобою.

Белый чайник себе поставлю.

И ошибку в себе открою.

Убеждена: нельзя психиатрам так однозначно судить о личной, сердечной жизни пациентов, нельзя, даже если любовь проходит в форме бреда. Ведь не мной замечено: зависимость психически больных от психиатра колоссальна, власть его над душами ничем не ограничена и ни с чем не сравнима. Психиатрам больные верят, как Богу. И нельзя, нельзя, нельзя ломать любовь, даже ради спасения пациента, его возврата в реальность. Иначе в реальность

возвратится убитая душа.

А тут еще эта грязь, смрад, плесень и подтеки на стенах, мат-перемат на кухне, куда за обедом посылают дежурных больных, жуткая одежда для гуляний: старые телогрейки и разбитые, типа солдатских, ботинки. Оказавшись в этой реальности и впад в тяжелую депрессию, я с тоской вспоминала лучезарные дни маниакала, я хорошо помнила весь свой волшебный бред, когда я внутри себя бежала, как по мосточкам через болото, по сюжетам сказок. По архетипам сознания, если пользоваться выражением психолога Юнга. А мне тогда казалось — это моя умершая бабушка подсказывает мне сказочные сюжеты, как мосточки над трясиной бреда.

Потом, повторяю, все погасло. А возродилось только осенью, когда я поехала в командировку и встретила своего любимого. Той же силы поток образов, ассоциаций хлынул на меня будто с небес, ну а врачи в Москве сказали: заболела снова. Действительно, впереди был новый виток болезни — уже с новым именем.

И плюшевые звери, тебя покуда нет, поговорят со мной...

Его мне послал Господь как утешение за ту любовь, несбыточную. Впрочем, новая любовь оказалась, как показали все последующие годы, не намного сбыточнее.

Наш общий друг однажды зимой попросил меня как журналиста спасти человека, находившегося в очень тяжелом состоянии в связи с постоянными гонениями со стороны властей. Его звали Юрой. Мы пришли в его квартиру на Садово-Черногрязской улице, и я с первого мгновения, как в романах пишут, увидела: это он. А он взял гитару и сказал, что подберет ко мне музыку — получилось «Расцветали яблони и груши» про Катюшу и бойца. И еще он сказал, что его нет в живых, что остался только пепел. Я заметила, что пепел — хорошее удобрение для новых всходов. Был он высок, бородат, красив и несчастлив. Долгие годы над ним тяготели и тяготеют до сих пор наветы, а в прошлом — суды, Бутырка, принудление в психушках...

Я радостно сообщила маме в тот вечер, что нашла как раз того, кого нужно: диагноз «вялотекущая шизофрения», обвинение в педофилии. А он ни в чем не был виноват. Продолжал полулегально работать с детьми вопреки всему. Вот мой герой, как раз мне по плечу. Мама только обреченно вздохнула.

В общем, второй раз меня увозили в больницу уже из подъезда его дома, в котором я одной мне понятными способами «расколдовывала» этот подъезд от злых сил (Юры дома не было): расплескивала по ступеням и стенам пузырьки с разноцветной тушью и, кажется, даже духами (вот дура-то!). Притащила Вике, его тете, ворох своих бус и ожерелий (в моем бреде она была царица морская, которая просто так мне Юру не отдаст). А еще в те дни я всем незамужним женщинам раздавала мелкие незабудки из эмали — разорвала свое ожерелье. Одну незабудку подсунула под дверь бывшей Юркиной жены (она жила в той же квартире в ожидании разезда), чтобы у нее все хорошо сложилось без Юры. В общем, «психовоз» мне вызвали в этот раз его тетя с бабушкой.

И опять — санитары, вязки, уколы, материализация... Я близорука, а в «острой», поднадзорной палате очки не положены, потому моя фантазия беспрепятственно творила из расплывчатых силуэтов окружающих людей материальное предвплещение Юры (потом нечто схожее я видела в кинофильме «Собачье сердце»).

Помню острое чувство всепоглощающей тоски еще тогда, когда я бормотала у него в

полутемном подъезде — а вдруг его нет со мной?! (Я-то была уверена, что он незримо присутствует рядом.) Вдруг мою речь, обращенную к нему, никто в целом мире не слышит?!

.. Я звала по привычке кого-то,

Но в ответ в этом царстве теней

Даже голос мне не был дарован,

Страшный голос: «Меня нет нигде».

Это сейчас, когда я учусь верить в Бога, я избавилась от этого ледящего чувства глобального, тотального одиночества. Есть, кому слышать меня.

А тогда — я просто ждала. Это было невыносимо: он так никогда и не пришел ко мне в больницу, но я не роптала и не ропщу. Со мной были его песни, я ими дышала, ими жила. Ими работала. Это у нас с ним общее: постоянная работа с людьми.

Медперсонал использовал мою энергию на полную катушку: старшей медсестре я писала рефераты по марксистско-ленинской философии (она училась на каких-то курсах), проводила политинформации, концерты, заведующей отделения (уже другой, сменившейся) помогала внедрять что-то вроде системы Макаренко в жизнь психбольницы: в качестве председателя совета больных проводила с ней по субботам общие собрания, следила за графиком производственных работ в мастерских, в отделении, в столовой какого-то завода.

Не знаю, как сейчас, но при советской власти у каждого отделения психбольниц был свой производственный план, который нужно было выполнять за чисто символическую плату, да еще и участвовать в соцсоревновании. План этот съедал у медперсонала не меньше сил, чем само лечение. А для больных... Какой кретин назвал это трудотерапией?

Пациентам психбольниц нужен не монотонный, скучный труд по склеиванию коробочек, продергиванию резинок в пластмассовые козырьки от солнца, клепанию металлических изделий в мастерских и мытью полов в заводской столовой, а — творчество. Ведь по преимуществу все, лежащие в этих больницах, обладают мощной фантазией, воображением. Это понимал Ганнушкин в начале века. В нашем отделении сохранился его бывший кабинет, отданный уже в нынешнее время под комнату свиданий с посетителями. Сохранился огромный дубовый стол, старинный рояль, пальмы в кадках и совершенно завороживший меня громадный шкаф темного дерева со стеклянными дверцами. Там, за стеклом, стояли игрушки, мастерски выполненные: тряпичные фигурки людей и зверей. Продукция больных начала двадцатого века. Ганнушкин знал свое дело. Не понимаю, почему в отечественной официальной психиатрии, в отличие от зарубежной, почти не практикуется терапия искусством, творчеством? Наверное, просто денег не хватает. Этот шкаф СЛУЖИЛ мне местом отдохновения. В душе оживала песня Юры: «Мы души игрушек, брошенных вами когда-то». Я пробиралась в одиночестве к заветному месту, усаживалась на корточки у дверец, наблюдая игрушки, и напевала про себя песенку Веры Матвеевой: «...И плюшевые звери, тебя куда нет, поговорят со мной...» Это было моей отдушиной, когда сердце замирало от нежности и смиренного ожидания.

...Жизнь души как мотылек, зажатый между пальцами, трепещет и не дается к воплощению в прокрустовом ложе слов.

Это всегда мешало мне писать о пережитом: получалась неправда. Но теперь мне просто

некуда, кроме слов. Один из моих нынешних докторов, сотрудник Центра психического здоровья Александр Николаевич Коренев утверждает, что для меня лучший способ выздоровления — публикация своего бреда, всего пережитого в болезни.

А я хочу выздороветь. Вот и пишу, начав на невоплотимость Правды Жизни. В конечном счете, все вокруг нас — условность, относительность, а правдив и абсолютен один лишь Бог, Его Слово, а наше — лишь отчасти.

...Мы вторичны.

Мы все — приблизительны.

Мы лишь копии копий.

Спасенья

В мире нет

От тоски повторенья.

И — смертельной жажды

Первичного.

«Ты меня везде найдешь»

Но есть еще одно глубинное чувство, которое меня ведет в этих записках, — боль за моих девочек, оставшихся в психбольницах, особенно — за хроников, чей мир вовсе невыразим в наших словах и понятиях. Но я почему-то каким-то шестым чувством их понимала. Одну из них я называла Олесей — из больных никто не знал ее имени: вогнутая от постоянного лежания спина, щербатый рот. Родителей у нее не было, только сестра, которая перестала забирать ее домой после того, как Олеся разбила телевизор. Я удивлялась: как может телевизор быть дороже сестры? Олеся, в основном, лежала без движения, что-то бормоча себе под нос, и лишь изредка подходила к окну и начинала вопить па все отделение с чьих-то матерных слов: «Хочу ...ться!», прогибаясь вперед деформированным позвоночником. Я становилась с ней рядом у окна, мы молча общались, она успокаивалась. В тот день, когда Олесю навсегда увозили в загородную больницу для хроников, мы также молча стояли с ней у окна. И вдруг она неожиданно тусклым голосом, но внятно и почти осознанно сказала мне, глядя в окно: «Я знаю, ты меня везде найдешь». Я тебя везде найду, Олеся. Я — помню.

Мне надо их помнить, чтоб хоть как-то озвучить, материализовать их существование в нашей реальности, в которой их, вроде, и нет ни для кого, кроме санитарок, врачей и близких родственников, если таковые еще имеются.

Вторую девушку, совсем девчужку с густой, короткой стрижкой, звали Светой, но себя она называла «он». Больше ничего из ее бормотания разобрать было нельзя. По ее знакам и мычанию я поняла, что себя она считала оленем и потому жевала сушеную траву, а попросту — табак, который она добывала, потроша чужие сигареты, за что получала бесчисленное количество тумачков. Она постоянно сидела на толчке, у нее был геморрой, и откликалась только на просьбу добродушной полной санитарки спеть песенку. В ответ она запрокидывала голову и тут же, на толчке, в немыслимо бешеном темпе выговаривая слова,

начинала петь: «А нам все равно, мы волшебную косим трин-траву». Она, как я поняла, хотела спасти все живое. Мотив всеобщего спасения очень силен среди душевнобольных (вспомните «Красный цветок» Гаршина).

Другая девушка с зелеными печальными глазами, ставшая инвалидкой после того, как со словами «С Богом!» шагнула вниз из окна с четвертого этажа и чудом выжила, очень хотела развесить по всей земле плакаты всего с двумя словами — «Берегите воду». Ее глаза были очень похожи на глаза моего Юры, поэтому я еще в бреду выделила ее среди остальных, потом мы с ней встречались уже после психушки, я ее навещала в обычных больницах, в которых она лежала с позвоночником по инвалидности. Это ни с чем не сравнимое братство — единение больных в психушках, объединенных одним желанием: выздороветь, выйти оттуда, зацепиться, задержаться хоть чем-то в реальности.

Могу свидетельствовать: болеют, как правило, очень хорошие, сердечные, душевные люди. Моя мама, будучи в нашем отделении председателем совета родственников, начинала свои поздравления больных с очередным праздником со слов, что здесь собраны самые тонкие, самые восприимчивые люди — и эти слова необычайно поддерживали моих подруг. Я же с радостью готовила для них концерты с их же участием, собирала деньги и закупала с девочками угощения на праздники, устраивала танцевальные вечера с приглашением пациентов из мужского отделения и очень сожалела, что мои друзья-музыканты не принимали всерьез мои просьбы придти к нам поиграть и попеть. Люди добрые! Не пугайтесь психбольниц, не отрезайте жизнь людей в них от своей реальности, если уж не можете не сдавать нас туда. Мы — такие же, как вы, только немного другие.

Мы очень хотим быть обычными, быть — как все, даже если это у нас никак до конца не получается.

Тамара Георгиевна

Я бесконечно благодарна врачам, стремившимся меня понять. Конечно, я им говорила не все, оставляя про запас, в тайне, например, то, что я считала своим «волшебством», называя себя Комиссаром программы «Солярис» в честь одноименного фильма Тарковского по Станиславу Лемму. Суть программы: материализация духовных объектов, о чем я докладывала своим подругам по больнице. От врачей же скрывала: все равно не поймут. Но остальное все рассказывала.

Мне повезло с новой заведующей отделением Тамарой Георгиевной Никулиной: она оказалась хорошей слушательницей, а впоследствии — нашим с мамой другом. По весне мы ездили вместе с ней за ландышами к нам на дачу. А в больнице она была для меня отдушиной, не считала бредом, например, мое неистовое желание позвонить моему знакомому, заместителю главного редактора журнала «Коммунист» и сказать, что в статье Ленина о Фейербахе, опубликованной в их журнале, Ленин ошибался. Фейербах писал, что мы такое же вещество, из которого сделаны звезды, а Ленин это оспаривал. С этим журналом я и прибыла в больницу. Тамара Георгиевна мягко выслушала меня и посоветовала, что звонить не стоит: философы сами разберутся и напечатают свои статьи, а мы их почитаем. Это меня немного успокоило.

Я любила уединяться с ней в ее кабинете и петь ей песенки — например, Визборовскую «Милая моя, солнышко лесное». Она внимательно, молча меня слушала, склонив голову к плечу.

Она же спасла меня от этой больницы, сказав, что это место не для меня, и посоветовала нам с мамой пробиться в Центр психического здоровья, что мы и сделали. У меня как раз была тяжелая депрессия, попытки суицида (полдня просидела с открытыми газовыми конфорками и духовкой — ничего меня не брало, резала вены — не дорезала, пошла в больницу зашивать запястье, отпугнутая от суицида театральностью этого жеста). Докторица, принимавшая меня в Центре, не понимала тривиальных вещей, утверждая, что нет никакой разницы между Ганнушкина и этим Центром — только стены другие: финская мебель, французские гравюры. Так в этом же вся суть! Окружающая больных материальная среда — это же очень важно, если не самое главное! А самое главное: в центре меньше нагрузка на врачей, они ведут всего по семь человек каждый. Центр — элитарное лечебное заведение для больных нашего профиля. Я только перешагнула порог своего нового отделения — и с меня слетела депрессия. Но тут же начался опять маниакал, опять программа «Солярис». Но общество там, на Каширке, собралось изысканное!

Тамара Георгиевна, приезжая меня проведывать инкогнито, робко заглядывала за порог комнаты свиданий — а я ей говорила, что она осталась в Ганнушкина, на передовой, а Центр же — что-то вроде тылового госпиталя.

Вообще психиатрия — это самая настоящая линия фронта: психиатры держат оборону от мира безумия, все сильнее наползающего на реальность материального мира. Похоже, психиатры — последний оплот вменяемости на границе реального и ирреального. Причем это столкновение частенько вполне осязаемо. Тамара Георгиевна, изящная и деликатная, пережила несколько нападений со стороны буйных пациенток, выдравших ей клок волос и расцарапавших лицо, — такие случаи не редкость.

Она навсегда останется в моей памяти своей печальной фразой: «Красоты не хватает, Марина Владиславовна, красоты вокруг очень мало».

В Центре

Итак, общество здесь подобралось изысканное — почти сплошь интеллигенция. Покачиваясь на финских вращающихся креслах, мы вели неспешные, безумно интересные беседы. Тихая, кроткая, улыбчивая девушка Лена рассказывала, что в Центр она пришла, чтоб запастись мужеством. Дело в том, что она ничего не могла есть кроме хлеба и воды, потому что чувствовала боль всего живого, даже растений, а не только животных, убиваемых человеком для пропитания. Ела только ради мамы, а сама мечтала найти такого же человека, как она, который бы питался солнечной энергией и водой, уйти с ним жить в пустыню. Она понимала, что мечта ее практически несбыточна, и потому мужественно несла свой крест среди обычных людей, включая психушки, и лишь просила не посылать ее на кухню чистить картошку, ибо для нее это равносильно фашистским концлагерям, в которых с людей заживо сдирали кожу.

Другая девушка вернулась к нам, как она сообщила в бреду, из вселенского гестапо. Там убили всех ее детей, и больше людей нигде не осталось. И нам тоже только кажется, что мы живые. У нее было обгоревшее лицо: утром, пока все спали, она прошлась по всем палатам, доставая из тумбочек шампуни и втирая их зачем-то в кожу лица. Я ставила ей примочки и объясняла, что это в ее реальности всех убили, а в нашей еще остался кое-кто, и раз уж она у нас очутилась, то надо учить наши правила жизни: например, шампунем у нас моют волосы, а не мажут лицо.

Распространенный среди больных мотив — встречи с инопланетянами прямо на улице, среди

толпы. (Черти больше почти никому не чудятся, я за долгие годы встретила лишь одну больную «с чертями».) Я же, постоянно чувствуя некое присутствие высших существ, в лицо их раньше никогда не видела, лишь последние годы стало мерещиться в приступах, что они материализуются в обычных людей, чтобы спастись от какой-то враждебной им цивилизации. Их отличал звездный блеск глаз.

Вообще сюжеты бреда часто повторяются у разных больных, но реагирует на эти сюжеты каждый по-своему. Например, первый раз, когда на меня хлынул в тысяча девятьсот восемьдесят первом году поток образов и света, я назвала это привычным для себя термином: «Коммунизм начинается». И стала на радостях все раздавать. В больнице мне встретила девушка с тем же откровением, но она, в отличие от меня, в связи с наступлением коммунизма стала бесплатно брать с прилавков все подряд.

Для меня же с тех пор каждый приступ маниакала проходит в бесконечном дарении всем окружающим всего, что у меня есть под руками. Скажу честно, что о некоторых подарках, очутясь в депрессиях, я, бывает, остро сожалею. Я так и не поняла, где же я более истинная — в маниакале или в депрессиях?

Сон на даче

В то лето я много писала и печаталась. Был подъем — но без бреда, редкая удача! Однажды на даче, на рассвете, мне приснился ослепительно яркий до осязаемости сон. Дело было на незнакомой планете в большом зале, полном каких-то людей. Я работала с аудиторией как на коммунарском сборе, когда мы умели за считанные часы сплотить и воодушевить массу народа. Но здесь я недооценила запасы злости и агрессии, скопившиеся в тех людях, раздался щелчок выстрела, и я стала улетучиваться, дематериализовываться, отлетая, и в этот миг появился он — Звездолетчик — в одеждах серебристо-пепельного цвета, он прилетел мне на помощь, но опоздал. Навсегда отпечаталось в моей памяти его лицо — поднятое вверх, ко мне, мучительно напряженное, любящее. Только один взгляд нам и был дарован. Я исчезала, улетучивалась, и по мере того, как я улетучивалась там, на той планете, я появлялась, проявлялась здесь, на даче, среди зеленого от листвы солнечного света в окнах. Рядом спала мама, и я должна была сдерживаться — только одна горячая слеза сползла по моей щеке на подушку, мама подняла голову, я тут же закрыла глаза, не смея даже разрыдаться. Ведь он, мой самый настоящий, единственный, остался там, на недосыгаемой звезде, один, без меня, к которой он так спешил на помощь. Остался — работать, а мне предстояло работать здесь, тоже одной. Только имя его осталось со мной — Гарри, да этот его мучительно-тоскующий взгляд.

Этого оказалось достаточно, чтобы я долгие годы упрямо искала его на земле, среди живущих и когда-либо живших.

Наверное, это были осязательные галлюцинации: я чувствовала его вселение в меня буквально кожей. Очевидно, это был след еще тогдашнего, давнего образа в профессорской квартире. Мне было это не важно: галлюцинация он или реальный образ — я должна была разгадать его, найти. Юре я честно описала свои ощущения по телефону и прямо спросила, он ли этот Гарри, который по мне «ползает» на расстоянии, или кто другой? Юра, очевидно, струхнул и отрицал свое пребывание в моих ощущениях.

Этого оказалось достаточно, чтобы я начала искать Гарри в других измерениях.

...Пишу эти строки на даче в середине лета, когда кажется, что сама природа, сама материя

солнечного света противится уходу в мир иллюзий и иррационального. Пишу, преодолевая вязкость слов, чтобы выразить невыразимое, запечатлеть эфемерное, наполнить бытием несбыточное.

Потому что они не вернулись

Но для меня эти иллюзии — такая же реальность памяти, как сама реальность. Даже ярче. Я была твердо уверена, что Гарри так же самоотверженно, как и я, ищет нашей встречи. Галактики, расстояния — все не в счет. Мы общались знаками. Я, к ужасу мамы, то и дело тащила в дом разные предметы, подобранные на снегу или в траве, независимо от времени года: игрушки, носовые платки, коробочки и прочее. Я научилась считывать знаки нашего общения как контрапункт: с облаков, деревьев, звучащей по радио музыки... Будучи Комиссаром программы «Солярис», я читала субординацию и строчила воображаемому начальству Гарри прошения с просьбой не наказывать его за нарушения инструкций, на которые он шел ради нашей встречи. Не беда, что некому и некуда было отдавать эти прошения. Я вообразила, что на расстоянии передается само нажатие шариковой ручки на бумагу.

Все хорошее, что устраивалось в моей жизни, я приписывала Гарри. В частности, новую редакционную дачу в Мамонтовке, кипень высоких цветущих черемух вдоль следования электрички — это он мне все приготовил, окружая меня красотой, заботой, как теплый невидимый ветер. Но встреча никак не случалась — это было немислимо, противоестественно, ведь я так явно ощущала его присутствие. И тогда меня посетило откровение!

Гарри должен был быть, это правда, и мое чувство не обманывало меня — мог быть, должен быть, но его нет. Потому, что нет десятков миллионов жизней, насильственно загубленных в нашей стране в этом веке. Они, их дети и внуки должны были быть по всем законам природы — но их нет, они не вернулись с войны ли, из лагерей. Я слушала двадцать второго июня по радио передачу о каком-то музыканте, ушедшем на фронт прямо с выпускного бала, и рыдала навзрыд. Днем позже, на даче, мы сидели с мамой на втором этаже в мансарде и я рассказывала ей свои мысли — что это и она не дождалась с войны своего неизвестного суженого и потому вышла замуж неудачно, пришлось разводиться. Не дождалась — потому что гибли лучшие, их теперь не хватает везде — в бездарной политике, архитектуре, промышленности, искусстве, в самом облике людей. Мама плакала вместе со мной. Я написала пронзительную статью об этом, мои старшие коллеги поразились, как я смогла прочувствовать эту тему, ведь родилась уже после войны. Я им ничего не сказала о Гарри, он так и остался моей тайной. Я жадно вглядывалась в нашем редакционном музее в лица тех, которые ушли на фронт и не вернулись, и даже нашла среди них предполагаемого Гарри. Не важно, что он носил другое имя.

Сколько лет и столетий скитаться

Нам пришлось, неразгаданный мой.

Догорает в полете наш танец —

И, сгорев, начинается вновь.

...Болезнь эта отступила, я уже с трудом вспоминаю ее детали. Но образ Гарри так и остался щемящей тоской в сердце. На даче в Мамонтовке, у дороги, есть заросший пруд, а над ним — фигура солдата в развевающейся шинели, крашенная серебряной краской. Серебро на

зеленом фоне деревьев и кустов. Я каждый раз мысленно склоняю перед ним голову и с горькой печалью шепчу: «Здравствуй, Гарри». Не встреченный мой, прощай. Юра, когда прочел в одной из газет мою сказку о Гарри, не стал претендовать на этот образ, а лишь подтвердил: «Гарри — это тайна». С Юрой мы виделись редко, он вскоре после нашего знакомства уехал из Москвы в другой город у моря. Окружающие по-прежнему винили его в моих приступах болезни, что еще больше вынуждало нас держаться на расстоянии. Но настало лето, когда наша желанная встреча, наши невысказанные слова были так близки!

Мы условились встретиться в мой отпуск в Гурзуфе.

В Крыму

Я ждала Юру в доме отдыха в Гурзуфе, читала «Вехи» и горько каялась перед Богом за всех коммунистов, за их отречение от Господа. А на пирсе возле «Артека» стояла бригантина под парусами: шли съемки.

Не иначе как бес меня попутал: я молила Господа наказать одну меня за грехи всех коммунистов. Говорят, что Бог наказывает исполнением желаний.

Вместо Юры, который не приехал, мне встретился Леонтий, за которого я в скором времени выйду замуж. У меня есть дурацкая привычка: выходить замуж каждый раз, когда случается физическая близость. Но мне до сих пор это кажется естественным. Леонтий был седьмым по счету мужем. Он попросту увел меня от Юры, я ведь так устала ждать его. Впрочем, в те дни, когда появился Леонтий, я была совсем не в себе. Бегала ночью на пирс к бушующему морю просить у Бога прощения для дьявола — очень мне его жалко было. Вот на следующий день и явился Леонтий.

Я, как водится, и Леонтия стала спасать. Он очень боялся смерти и еврейских погромов, и вот я ночами стояла у нашего домика, куда убежала из дома отдыха, с красным пластмассовым детским мечом: охраняла его жизнь от тех угроз, что мне мерещились. Кончилось это тем, что он позвонил в Москву моей маме и вызвал местный «психовоз». Мы знакомы были всего дней десять, но санитарам я упорно твердила, что он мой муж, пока они усаживали меня в машину. Он, должно быть, вздохнул с облегчением, а я, как всегда, была убеждена, что мой избранник последовал за мной, незримо присутствует со мной в больницах. В этот раз у меня пошли глюки после бессонных ночей: наш старенький домик в Гурзуфе привиделся мне отремонтированным, белым, утопающим в кружевных занавесках. Из домика того меня почему-то долго возили по разным крымским больницам, пока не доставили под Симферополь, в крымский областной Центр психического здоровья. В одной из больниц я сочла, что очутилась в раю, только было там пасмурно и скучно. Сюжет был продолжен уже под Симферополем в Центре, где обнаружилось, что в раю у людей нет зрения и воды.

В общем, без меня и на том свете не могли разобраться, всюду были недоработки. Я с восторгом кидалась их дорабатывать. Там же, в этих поездках, мне пригрезилось испытание: одним махом перешагнуть через смерть, пересекая какую-то незримую линию. Я с готовностью шагнула. Вообще мотив экзамена, испытания, которые мне предлагаются кем-то свыше, постоянно присутствует в моих бредовых состояниях. То ли потому, что экзамены — моя стихия: школу окончила с золотой медалью, университет — с красным дипломом. То ли слишком силен мотив пострадать за всех, за всеобщее спасение и доказать эту свою готовность в различных ситуациях, моделирующих реальные испытания.

Были в этих разъездах и упоительные моменты: так, мне грезилось, что везут меня не по крымским горам, а по Гималаям, и что совсем рядом — махатмы и все чудеса Шамбалы. В автобусе душно, густо пахнет бензином, нечем дышать. Я затаила дыхание, плотно зажав ноздри и закрыв глаза, тут кто-то открыл люк и мне почудилось, что я поднялась сквозь этот люк в небо и там, в золотом безвоздушном космическом просторе, танцую с кем-то золотой вальс.

Еще было мгновение до больницы, ночью, когда я подняла к небу глаза и действительно увидела небо в алмазах — так сияли звезды. И мне увиделась картина мироздания: сверху колокольчик роняет капельку-звездочку, она несется через миры и галактики и падает вниз, на раскрытую ромашку. И все дело лишь в том, чтобы не бояться стать самой этой звездочкой. Потом, уже в больницах, мне пригрезилось, что за эту картинку меня ждет расплата: слишком преждевременно видеть небо в алмазах на нашей земле. Мне было показано, как я своей поспешностью что-то напортила, напутала в общем потоке жизни, и в результате какие-то хорошие люди, высшие существа, были вынуждены поменяться полами: мужчины стали женщинами, а женщины — мужчинами. Но семейные пары сохранились.

...Потом я оказалась в безвременье.

Это был ад или чистилище, так я решила. Глыбы жизни застыли неподвижными разноцветными сталактитами. Ничего не происходило, ничего не изменялось. Мне виделись какие-то плиты египетских пирамид, придавившие течение жизни. Я напрягла последние силы и на доньшке души обнаружила каплю спасения. Память о том, что я любила Леонтия. Перед глазами возник тонкий, но сильный зеленый росток; он изо всех сил рос и пробил каменные плиты. Я была спасена. Вдогонку мне было показано наказание того, кто подбивал меня на все эти эксперименты: он был заключен в образ гигантского орла, приговоренного к неподвижности. Ему было дано лишь через полуоткрытые веки видеть один и тот же неподвижный, неизменяемый мир, застывший каменными самоцветами. А мне — возникать в этом мире заново и заново с глубинной тоской оттого, что я знала: нового ничего нет, это все одна и та же кутерьма. Это очень тяжелое чувство, оно накатывает на меня в депрессиях.

...А дальше случилась сказка: Леонтий приехал в больницу. Впервые тот, кто являлся мне в бреду и кого я ждала, вроде бы, сбылся. В Москве мои врачи с радостью констатировали этот факт: «Вот, наконец, у Вас есть в реальности тот, кто Вам нужен». Я очень любила Леонтия, не могла дождаться его из командировок — он работал организатором художественных выставок. Но и он не уберег меня от депрессий, таковы уж законы болезни. А может, внутри была очень сильна память о Юре — это ведь его я ждала в Гурзуфе. О своем предстоящем замужестве я сказала ему только следующей весной. И мы оба, вроде, радовались этому. Так радовались, что в итоге крепко загрустили. Но я была убеждена, что нашла свою судьбу. Может, она и сложилась бы, не случись катастрофы: за день до моей свадьбы машина, в которой Юра с детьми возвращался из горной экспедиции, упала в пропасть. Шестеро ребят погибли, сам Юра чудом остался жить с массой переломов позвоночника и ребер. Я восприняла это как знак Божий. Резкий разворот, резкий разрыв — и я ушла от Леонтия.

Жить — это приказ

Вся помощь пострадавшим в катастрофе шла через клуб моих ребят в центре Москвы, на Сретенке. Я же крутилась у них под ногами со своим «волшебством». Где-то раздобыла огромную коробку с куклами и высаживала их вокруг стола по числу пострадавших — Юрой же я назвала одну из них. Я знала, что он не хочет жить, хочет уйти вслед за ребятами, и колдовала над куклами, мысленно посылая Юре слова: «Жить — это приказ». Потом их с

Кавказа перевезли и клинику в Питере, я же писала в Москве сказки, обращенные к Юре, печатала их в «Учительской газете», главный редактор которой был моим другом, а в Питере Юрины ребята покупали эти газеты и читали их ему вслух. Так, мне казалось, я тащила его с того света. Мне же он писал из больницы: «Ах, если б нашелся кто-то могущий понять, что единственно и больше всего на свете мне нужен юрист, который мог бы довести меня до «вышки». Я отдал ему бы все материальное, что у меня есть. Благословил бы посланного мне пулю в лоб — как еще уйти к ребятам? Самоубиваться, однако, нельзя. И к ребятам не попаду, и пропаду. Зачем-то я задержался здесь. По мнению окружающих, я должен отбывать эту постыдно бессмысленную жизнь».

Их, ушедших, он при встрече со мной назвал нашим с ним «небесным отрядом».

Страшный Суд

...Опять пространство жизни скукоживается, как шагреновая кожа, опять наползает самое страшное — депрессия. Жизнь наполняется, как губка водой, тревогой и беспричинным страхом.

Все, что я могу — это свидетельствовать свои состояния буквами, держать в памяти дорогих людей и через них реальность. Я устала жить на вечных качелях между подъемами, маниакалами и депрессией. Но Боже мой, что же мне остается? Итак, продолжаю запись бредовых состояний, частоколом строк обороняясь от липких волн страха. В больницы мы с мамой решили больше не попадать. Моя мамочка — вот мое спасение. Бесстрашная моя мама, не боящаяся ни бреда, ни черных пустот моих депрессий. Итак, вернусь в прошлое, в один из сюжетов бреда.

В депрессиях мне становится жутко стыдно за свою наглость в подъемах, в маниакале. За гордыню, манию величия. Например, за то, что Юру я мыслила мессией, а себя — его напарницей, защитницей.

Но, может, для каждой любящей женщины ее любимый — немного мессия? А, может, вообще любовь — это и есть безумие? У кого в меньшей, у кого в большей степени.

Смысл был в незаметном, плавном, чтобы ничего никто и не заметил, преобразовании, сплетении того света и этого, волшебном их взаимном преобразовании. И вот я пребывала, полная ликующей многозначительности, в первой поднадзорной палате и постоянно твердила, кружась в одном мне понятном цикле движений: «Вот Бог — а вот порог». Мысль была в том, что Господь доверил нам с Юрой очередную вахту на земшаре, очередной невидимый конец света.

«...Лишь бы он остался цел — этот трудный лобастый ребенок, этот маленький наш земшарик...»

Мой лечащий врач участливо спросил: «Ну как, видели Вы тот свет? Какой он?» — «Видела, — кивнула я в ответ, — такой же, как этот».

В отличие от массовых помешательств на образах мессий и пророков, я сохраняла в тайне свое «предназначение». Доверялась только Юре, строча ему каждый день письма с «инструкциями» по проведению Страшного Суда. Письма, слава Богу, не доходили. В моем понимании просто не было никого, кто бы так подходил на роль мессии, как Юра. Обожествление, идеализация своих избранников — моя участь. Но время от времени в образ

мессии вмешивался образ Гарри, оттесняя Юру. То есть кто-то посторонний, не тутошний, не из наших, но очень хороший. У меня была уникальная роль: заманить его на землю, влюбив в себя, воплотить, материализовать его нематериальную сущность, чтоб он уже потом здесь обустроился и утешился какой-то другой земной любовью. Еще дома, накануне отвоза в больницу, под абажуром, я то и дело меняла наряды: так я его завлекала. Вместе с ним с того света должны были прорваться души умерших — или просто инопланетяне — и я их видела... в телевизоре. Это были, в основном, певцы и музыканты, но их выдавала неземная красота и звездный блеск глаз. Работники телевидения, как я была уверена, их укрывали, участвуя в этом грандиозном эксперименте.

Я так и заявила врачу: «Я болею вместе с телевизором». И он каждое утро на обходе начинал разговор со мною с вопроса: «Ну, как дела у нас с телевизором?» На что я бодро отвечала: «Болеем». И давала собственную подробную трактовку всего увиденного по TV.

Еще один мотив последних лет — тайное сошествие Матери Божией на землю в обличии простой женщины. Я, естественно, это обличие разгадывала. Помню, избрала в какой-то из крымских больниц благообразную сухонькую пожилую женщину в белой кружевной кофточке. И пока нас вместе с другими пациентами везли по крымским дорогам, я громогласно требовала признать ее и отнестись с почтением. Я, очевидно, так вопила, что получила от какого-то парня удар по зубам, губа была разбита в кровь.

Но я все равно не унималась. А бабулька лишь молча пожимала плечами в белых кружавчиках.

Я очень боюсь Апокалипсиса: ведь погибнут дети и все живое, неповинное в наших грехах. Поэтому всеми силами стремилась устроить плавный, безболезненный переход, при котором грешники раскаялись бы сами собой, оказавшись в царстве Гармонии. А мы им здесь, на земле, моделировали бы это царство. Наверное, это были банальные еретические мысли, но я их нигде не обнародовала. Позже, знакомясь с различными сектами и «новыми религиями», в частности с Богородичным центром, я обнаружила у их создателей типичные проявления психических болезней. И мне кажется неуместным тот пыл, с которым их официально обличают — надо бы просто лечить. Только вот не знаю, готова ли отечественная психиатрия справиться с их бредом.

Пока же я наблюдала в больницах жертв всяческих сект и общин: Катя, ставшая моей младшей подругой, потеряла после занятий в сектах дар речи, впала в какой-то ступор. Другая девочка начиталась книг по магии и буквально застыла с широко открытыми карими глазами, упертыми в одну точку. Ей не помогали даже электрошоки. Третья девочка все время билась головой об стенку в молитвенном экстазе, пока не падала без сил.

Для верующих больных в Центре устроили маленькую церковь — врачи отдали под нее свой буфет. Священником в ней был бывший психиатр. Его черная ряса часто мелькала в коридорах вместе с белыми халатами врачей и медсестер. Он принимал исповеди, давал наставления, крестил желающих; — молоденькие девушки, надев платочки, табунами ходили за ним, крестя друг друга.

Было в этом что-то бутафорское, и мне священник посоветовал креститься все же не в этой больничной церкви, а в настоящем храме. В больнице же церковь играла роль своего рода еще одного лечебного кабинета, наряду с кабинетами массажа, шейпинга и тому подобных.

И смех, и слезы, и любовь

Молоденькая психологиня, деловито разложив листочки, спрашивает меня: «С кем из литературных героев Вы себя отождествляете?»

«А Вы?» — с интересом спрашиваю ее я. — «А кто из нас психолог: Вы или я?» — строго ответила вопросом на вопрос психологиня. — «Не знаю», — честно ответила я, ибо разговор в режиме монолога, допроса кажется мне глубоко антипсихологичным. Договорились, что в конце она ответит на мой вопрос, а пока ответила я: «С Фрэзи Грант, бегущей по волнам». — «И чего Вам недостает в сравнении с этим образом?» — «Легкости походки». Психологиня подняла брови, не поняв, а я объяснить не сумела. Потом разговор зашел о здании Института мозга, что строили за окном. Я поинтересовалась, будет ли он связан с нашим Центром. «А что, у Вас там работают друзья?» — опять не поняла докторица. А я не поняла ее удивления: как может Институт мозга работать отдельно от Центра психического здоровья человека? Она уже поднялась уходить, когда я напомнила ей обещание ответить: с кем она себя сама отождествляет? «С героинями коротких рассказов Чехова», — коротко, через плечо ответила она, потряхнув светлыми волосами.

Доктора вообще, как мне кажется, нас мало понимали, хоть и старались в меру квалификации и доброты. За пределами вопросов «в режиме монолога», больше похожего на допрос, оставалось почти все содержание внутреннего мира, многие наши мысли. И тогда мы решили их обнародовать: стали выпускать одну за другой огромные стенгазеты, где писали все, что думали о врачах, о больнице, о родственниках, о жизни, — фельетоны, статьи, стихи, которых оказалось у больных великое множество, даже у тех, кто постоянно молчит. Большинство раньше ничего такого не писали.

Для больных это было событие — публикация в газете, хоть и стенной, а врачи просили у меня переписать тот или иной рассказ их пациента. Через несколько дней мы вывешивали стенгазеты в комнате свиданий, и родители, бывало, впервые открывали поэтический талант у своих детей.

Редколлегия подобралась породистая: статная, красивая Юля с азиатскими чертами лица, всегда в маниакале мечтавшая стать диктором телевидения и насмерть ругавшаяся с мужем. Назло ему заводила романы с кем-нибудь из мужского отделения, и все наши больные, включая санитарок и медсестер, передавали записки влюбленных, где они уславливались о встречах. Юля с гордо поднятой головой решительно отказывалась от уколов галоперидола и величественно отправлялась на выходные домой, где ее нещадно лупил муж-бизнесмен. Не знаю, давала ли она сдачи.

Томная грузинская актриса с известным именем тоже помогала нам, разрисовывая вольными мазками газету, что приводило в неистовое возмущение Юлю с ее аккуратными линеечками. Актриса ходила постоянно с плеером, плавно покачиваясь в такт музыке, словно пританцовывала. Похоже, ее вообще не волновало, где и вообще в какой стране она находится: на презентации, номинации или в психушке. Порой она начинала говорить то по-английски, то по-французски. Муж ее был физик-атомщик, они очень любили друг друга, после выходных, проведенных дома, актриса лишь томно закатывала глаза, чарующе произнося: «О, секс!» И шла дальше покачиваться со своим плеером, как на волнах. Вообще маниакал почти всегда сопряжен с повышенной сексуальностью. Будто какие-то флюиды исходят от нас, влюбляя в нас встречных мужчин. В подъемах у меня всегда масса поклонников.

А у одной нашей девушки, Кати, было бешенство матки. К ней то и дело приходили разные

парни и мужчины, и они занимались любовью прямо в подъездах соседних домов, о чем Катя, усевшись в курилке на мусорном ведре, с коротким смешком нам потом рассказывала, вызывая во мне омерзение.

Но как-то я случайно застала ее одну у рояля — по телевизору звучала песня: «Осень, в небе жгут корабли, осень, мне бы прочь от земли». Катя слушала, уронив длинные волосы на рояль, и безутешно рыдала. Газету мы назвали: «И смех, и слезы, и любовь».

Рыдания друг друга мы тщательно скрывали от медсестер и врачей, загораживая плотным кольцом плачущую — иначе ей грозил перевод в острую, поднадзорную палату, удлинение сроков пребывания в клинике. Чаше всех плакала Лера — сухонькая, немолодая уже женщина. Она то и дело становилась в угол и неистово крестилась. Грех ее был в том, что к ней в больницу — только с разных ходов — приходили и немолодой муж, и молодой «друг». Лера не могла ни с кем из них двоих расстаться, потому и вымаливала у Бога прощения.

Стенгазеты вносили творческий, воодушевляющий импульс в нашу монотонную жизнь. Ведь большинство в больницах — не буйные, а «депрессанты» с застывшим, маскообразным выражением лица, безостановочно снующие из одного конца коридора в другой. Мне повезло: перед выпиской поместили в одноместном номере «люкс», где я могла остаться наедине со своим внутренним миром. Как особый знак я расценивала гравюру у входа в «люкс»: детские игрушки, барабан и конь-качалка, забытые на ночь в клетке каменного двора. Знак песни Юры: «Мы души игрушек, заброшенных вами когда-то».

Свой мир был и у белокурой школьницы Светы, начитавшейся книг английского писателя Толкиена и полностью ушедшей в его мир. Она жила жизнью своих воображаемых героев: писала о них сказки, вырезала из бумаги и раскрашивала. Стойко выносила припадки, когда валилась на пол и билась в судорогах. Крики, вопли время от времени нарушали монотонный ритм жизни. Особенно пронзительно кричала худенькая, очень изящная девушка Оля. Она выскакивала в белом махровом халате из палаты, закрыв лицо руками и отчаянно, истошно кричала: это она опять увидела лицом к лицу смерть. Сестры стремглав мчались к ней со шприцами. В промежутках она спокойно болтала часами со своим врачом, бесподобно пела под гитару, аккомпанируя себе, сочиняла прекрасные стихи. Но кошмарные видения не отступали.

А я уже поняла: наши видения, кошмары и бред не только разрушительны для личности, но могут быть и источником творчества.

Депрессия

В подъемах я остро, нестерпимо люблю людей, запойно общаюсь с ними. В депрессиях наступает немота, я с трудом выдавливаю из себя банальности. И это страшно тяготит, как утрата правды и смысла общения. Утрата той полноты общения, когда я могу словом, беседой помочь человеку и понять его. В депрессии будто отключают почти все каналы восприятия, оставляя прожиточный минимум и — бездонную горечь об утраченном. В депрессиях я упорно хочу быть кем-нибудь другим (каждым, кто мне встречается): кассиршей ли в буфете, зубным врачом, секретарем в отделе, заклеивающим конверты — они делают что-то простое и нужное, в них нет пустоты — и не хочу быть собой.

Деперсонализация — суть депрессии, как я где-то прочла. То есть утрата человеком чувства собственного «я». Это невидимый и оттого еще более мучительный процесс. Когда вырезают аппендикс или ампутируют руку или ногу — это зримо, это понятно. Это вызывает

естественное сочувствие. А вот когда ампутируется сердцевина личности — то безмолвный, безысходно отчаянный крик слышен только самому человеку, разделить его с кем-то просто невозможно. Мне-то еще повезло: остаются буквы — хрупкая лодочка в океане бессмысленности, разорванных связей. Я научилась и это скрывать под бодрой улыбкой, уверенной походкой. В первую депрессию в Ганнушкина два месяца подряд победно, лучезарно улыбалась на обходе с одной целью: выбраться отсюда и покончить счеты с этой жизнью. А врач решила, что у меня уже маниакал начинается. Жутко страдала при этом от своей неправдивости. Но правдой был бы только один крик.

Может, депрессия — это предельный эгоизм? Когда концентрируешься только на своей боли, механически и с тоской преодолевая реальность.

«Счастливая, ты книгу можешь читать», — вздохнула одна девочка, тоже находившаяся в глубокой депрессии. Я не стала ей объяснять, что уже час держу открытой книгу на коленях, не в силах связать две строчки.

В депрессии все то, что казалось волшебным, многозначительным, ликующим, становится обыденным, тусклым, тоскливым, даже зловещим.

Я не знаю, зачем и кому нужны эти перепады, эти качели. Я не знаю смысл своего предназначения, когда в очередной раз рухнет мир, и я становлюсь блеклой, запутанной копией того существа, которое всех «вдохновляло».

Я даже не знаю, истинна ли моя любовь к людям, если она сгорает яркой вспышкой, сменяясь мраком собственной запуганности, боязни людей. Это два разные существа: я в депрессии и я в подъеме. Они друг с другом не встречаются, разве что под крышей этих вот страниц. Ведь начала я писать — в подъеме, продолжаю — в депрессии.

Просто Юрка

Конечно, ему в лицо и никому другому я напрямую не открывала эту тайну, что Юра и есть Христос. Начнутся паломничества, чудеса и вся эта канитель. В целях воспитания в нем антигордыни строго произнесла ему: «Я очень надеюсь, что ты не Христос», он настороженно хлопал глазами, а восторженные тетки продолжали нести ему горы религиозной литературы с экстазом посвященных в глазах. Мне это претило: «Да никакой он не Христос!» Хотя бы потому, что Христос ведь не ругался со своими учениками, даже зная наперед, кто из них его предаст. А Юрка, когда старшие ребята уходили, каких только слов им вслед не слал. А сам зимой ходил по городу, прижав к груди шапку ушедшего от него Генки. И молил меня свести его с ума.

Куда уж больше, подумала я. Это никем не описанная еще отцовская любовь не к своим, кровным, близким, а — порой даже более сильная — к чужим, дальним детям. Любовь, сродни разве что Янушу Корчаку в нашем веке.

Философ Ильенков, когда его ребятки ушли от него, предали, покончил с собой. Это стало последней, решающей каплей — все остальное, включая травлю в институте философии и в печати, он еще мог бы вынести.

Я диву даюсь, как такой умный, талантливый человек, как Юра, оказывается совершенно беспомощным в решении взрослых вопросов. Просто все дело в том, что ему так и осталось «как всегда, двенадцать» — так отвечает взрослый герой в сказке Крапивина на вопрос о

возрасте. Он так и не ушел из детства, из сказки. Я тоже стараюсь ее не предавать, даже ценой психушек и депрессий.

Я не скрываю: да, мы — сказочники, причем не в том смысле, что пишем сказки (хотя и такое бывает), а сказки эти творимой как пирог печем из реальности, словно волшебным фонарем освещаем свой путь — возможно, и для других.

...А когда я ночью, инкогнито, как в карете, проезжала поездом Туапсе, где жил Юрка, на море был дан грандиозный бал: по всему горизонту выстроились освещенные корабли, отбрасывая в море снопы света, как отсветы канделябров на огромном черном мраморном полу. Я не сообщила Юре о своем проезде — не знаю, почему. Поезд свернул в горы, и мне открылось Царство моего Короля Гор. Вернее, Волшебника: Юра и впрямь обладает некими мистическими способностями, которым не придает особого значения. «Волшебник Зеленых Гор» — так назывался мой очерк о нем.

...Ну и пусть будет книга-уродец, я далека от художественности. Книга-костыль, с помощью которой если и не победить болезнь, как Зощенко в книге «Сила разума», то хотя бы разобраться с ее истоками.

...Помнишь, Юрка, как в горах, когда я добралась до твоей экспедиции, мы сидели в полиэтиленовом домике (от дождя твой стол был укрыт натянутой прозрачной пленкой). Кстати сказать, это и был наш единственный и больше неповторимый домик, да и то ты мне мягко не велел наводить на столе порядок — «потому что дети свободны даже в своем беспорядке, порядок должен сам собою вырасти у них», ну и так далее. Тут уже я возражала, лирическая беседа заканчивалась, и начиналось то, что ты называешь «кухней» — наши «педагогические разборки». Чую, что за множественными проблемами мы так никогда и не доберемся до своей личной судьбы. Да, так вот, в том прозрачном доме, в который тарабанил дождь, я жаловалась, что не могу написать книгу. А не могу написать, потому что у меня нет целостности своего Я.

Теперь я знаю, что опыт может получиться, у меня есть эта цельность: цельность моей болезни. Здоровой я просто не могла остаться, пусть маменька с папенькой прекратят свой спор, чья наследственность виновата в моей болезни. Мы с девочками в Крымском Центре пытались выяснить, за что нам такая доля. Одна из собеседниц сказала: «Бог наказывает безумием, но — избранных». Конечно, лестно быть избранными, но уж лучше бы — как все. Без этого наказания.

Нет, лукавлю: я смутно ощущаю свой путь, который даже обвалы депрессий не накрывают целиком мутной водой обыденности. Хотя искус очень силен — уклониться с пути. Например, соблазн утратить все свое волшебство, весь свой запутанный разноцветный мир за одну только недельку обычной будничной жизни в семье, где все любят друг друга. Но Юрка плохо смотрелся бы под абажуром, он ему чужероден, его стихия — лес, горы. А я не могу спать в палатках. Это смешно. А если серьезно, то вокруг нас словно очерчены два круга — не приближаться, не заходить дальше черты. А может, мы просто боимся друг друга, боимся сказать простые и невероятно трудные слова в глаза друг другу.

Иносказательно, в сказках, рассказах, письмах мы уже все сказали, мы тщательно продумали, и я даже описала в газетной заметке, какие занавески будут у нас на окнах, раздуваемые ветром с моря, а Юрка добавил, что на скамейке, утопающей в цветах белого табака, будет стоять пишущая машинка. «Что нам стоит дом построить, нарисуем — будем жить». Нарисовать — можно, только жить не получается. Что же, пусть рисуют себе по нашим чертежам кто-то более удачливые. А мы пошлем им ветер с моря, чтобы занавески

раздувать. Все подарим, все раздадим, всем поможем как сможем, а для нас двоих — только две минуты, взгляд друг на друга на вокзале. И потом полгода жить этими минутами. Что делать, если зайцы все время тонут и надо их спасать в переполненной лодке Деду Мазаю. А тонущую Офелию спасти бесполезно — опять топиться пойдет. К тому же плавать умеет, в отличие от зайцев.

Владимир Анатольевич

И опять Бог послал мне утешителя. Наша первая беседа началась с осторожного: «А верите ли Вы во вторую реальность?» Я так же осторожно ответила: «Точно не знаю. Но вот Бергман, особенно в своем фильме «Александр и Фанни», показал переплетение этих реальностей». «А я читал, что Бергман тоже лежал в наших больницах», — произнес он не тоном приговора, а все так же раздумчиво, перелистывая бумаги и не глядя на меня. Послушав историю про Юру и Леонтия, который в ту пору ужасно орал на меня (я еще не ушла тогда от него — это было до катастрофы), он сказал: «А стоило ли менять шило на мыло?»

Из всех людей Владимир Анатольевич Раюшкин, научный сотрудник центра, может, глубже всех знает меня теперь. Он бесстрашно окунулся в волны моего бреда, я обо всем ему сама каждый день докладывала по телефону в очередном приступе, удивляясь, к чему он так дотошно меня спрашивает, выходя за рамки обычного общения с пациентом. Он ответил: «Хочу знать все закоулки Вашего подсознания». Мужественное решение. Ведь, по моим понятиям, в этих закоулках и у психиатра крыша поехать может. Втихаря подарил мне даже фарфоровую принцессу из сувениров в кабинете. Еще будучи в больнице, я расцветала, едва увидев его в коридоре, и он останавливался на минуту-две (он не был моим лечащим врачом, а вел меня вне больницы, амбулаторно), и всегда говорил что-то приятное — о фасоне платья, о прическе. Он стал настоящим другом. Мы перезваниваемся, бывает, в день по несколько раз. К тому же я постоянно писала ему письма (это у меня привычка такая — письма, как правило, безответные). И какое же было счастье, когда он в моих блокнотах стал отвечать мне!

К своим запискам я его приучила еще в больнице: от нечего делать и от вечного желания заниматься важным делом, сидя в поднадзорной палате, я писала на длинных листах о том, что надо знать дополнительно психиатрам в области педагогики, психологии, философии, чтобы правильной лечить. Всерьез воспринимал эти записи только Владимир Анатольевич, жадно пробегал их глазами, не понимая: «Это что, ключевые слова — все эти фамилии, школы?» — «Нет, живая реальность». Мыслей об усовершенствовании психиатрии у меня было так много, что меня заперли на ключ, чтобы не мешала. Тогда я стала совать листочки прямо под дверь поднадзорной палаты, и они разносились ветром по всему отделению, приводя в неистовство санитарок. Когда мне разрешили ходить по коридору, я первым делом направилась к двери заведующей и подсунула записку в щель. Там шло совещание, кто-то рассмеялся: «Опять послание от Марины Владиславовны, от кого же еще?»

Сестра-хозяйка, когда появлялся полупьяный сантехник или столяр, сразу бежала за мной, тот от моей строгой вежливости немного трезвел, улыбаясь во весь рот: «Вот для нее я все сделаю». Я всех хотела рассмешить, растормошить, растопить дистанцию между врачом и больными. Например, когда в отделении появился кто-то из самых главных и грозных начальников, я побежала за ним вприпрыжку и на лету вставила ему в нагрудный кармашек листок со словами «Ку-ку». Он только успел фыркнуть. Все хохотали.

У Владимира Анатольевича прекрасное чувство юмора. Когда, не будучи в стационаре, я приходила к нему на прием и если была не в депрессии, мы так оглушительно хохотали, что

Владимир Анатольевич делал мне панические знаки.

Так вот, письма я писала с самых юных лет: сворачивала бумажки трубочкой и засовывала в щели улья. Писала пчелам и деревьям, цветам. Потом людям, чаще всего не отправляла, но и на отправленные редко приходил ответ. Я усаживала школьную подругу в кресло и кормила пирожными, только чтобы слушала мои записи.

Вот почему я была счастлива, увидев почерк Владимира Анатольевича в своем дневнике.

Правда, такая короткая дистанция с больным тоже может быть чревата: в какой-то момент нашего разговора по телефону (я сидела в ванной) он вдруг отчаянно заголосил, что все кончено, он не психиатр, он может теперь только поднять лапки и крутить хвостиком — и передал трубку Александру Николаевичу, моему лечащему врачу. Мы поговорили с Александром Николаевичем в обычном жанре допроса, уточнили схему лекарств — и только. Ни я ему, ни он мне больше быши не нужны. А нужен мне как раз такой вот врач, теряющий, как ему кажется, квалификацию ради того, чтобы глубже понять больного изнутри. На мой взгляд, это говорит как раз о высоком профессиональном, человеческом уровне квалификации в психиатрии.

Вот и прыгнул конь буланный

В этот омут окаянный...

Не знаю, преследует ли он какие-то научные цели в этой переписке, в нашем плотном общении — по моему мнению, лишь самые минимальные, все остальное — общение чисто лечебное и чисто человеческое. Что жаль, ибо я люблю отливать золотую пыльцу общения в слитки тем, статей, книг, концепций, диссертаций.

Еще доктор Мазаева в центре кричала на меня: «Вы нам ломаете все схемы!» Но, может, схемы такие, которые надо ломать?

Во время официального обхода, обставленного благоговейным молчанием, я дергала за полу халата какого-нибудь главного профессора и спрашивала: «А Вы знаете, какое самое главное чудо на свете?» — «Какое?» — живо поворачивался тот ко мне. — «А то, что завтра будет — утро!» — «Точно?» — переспрашивал профессор. — «Точно», — кивала я головой, а сама думала, что в этом мире ничего точно прогнозировать нельзя. Все мои выходки психиатры терпели. Единственный раз я видела разъяренным Владимира Анатольевича — это когда по радио передавали интервью со мной о том, как у нас в больнице прошел референдум. Своего знакомого журналиста, парня с Радио России привел Игорь Геннадиевич, тоже врач нашего отделения, не ожидая, конечно, такого скандала. Александр Николаевич, накрученный Раюшкиным, настойчиво твердил мне, как это может мне повредить.

Я же, которая никогда не скрывала свою болезнь ни в редакции, ни в кругу друзей, не могла разделить с ним его ужас. Мы потом переглянулись с Игорем Геннадиевичем и сошлись на том, что у этих двоих просто старомодные взгляды. Но я оценила горячность, сердечность тревоги Владимира Анатольевича за мою жизнь в «миру», вне стен его «обители». А вообще меня удивляет, почему так мало в общественном сознании знаний о душевных болезнях, почему интересны эти проблемы в основном только в связи с заключением диссидентов в больницы? Ведь душа есть у каждого, как зубы или горло, и точно так же может заболеть, только несравнимо больнее, чем зубы или горло. Непонятна мне и замкнутость, закрытость психиатров, как какой-то касты жрецов.

Я крепко подружилась с Владимиром Анатольевичем, он стал для меня близким и дорогим человеком, но мне, например, так и не удалось затащить его ко мне на день рождения: «А в качестве кого я там буду?» — «В качестве моего друга и моего доктора». — «Нет, не могу. Это может повредить Вашей репутации». Он никак не мог поверить в то, что не только моим друзьям, но и руководству редакции эта «репутация» хорошо известна и дела не меняет.

Другая психиатрия, побывав у меня в редакции, с ужасом округлила глаза, увидев репродукции Чюрлениса на стенах: «Немедленно уберите, — зашептала она, — он ведь тоже был душевнобольным». — «Ну и что?» — «Могут понять, что Вы такая же». — «Это только сделает мне честь!»

Когда кто-нибудь из друзей к слову обмолвится: «Ты чего сегодня такая красивая, с ума сошла?» — я радостно подтверждаю, что у меня и справка есть. И собеседник конфузится — по-моему, совершенно зря. А когда я распекаю молодняк, то это мой козырь: «Пусть я сошла с ума, но у меня хоть справка есть, а вы вот больные, но не лечитесь».

Как я была бабушкой

Сама же я всячески ломала эту закрытость. Я, например, обожала общаться с родственниками больных, без спроса входила в комнату свиданий, а девчужки называли меня кто второй мамой, кто даже бабушкой. йДа, —убедительно кивнула, взглянув на меня, юная восточная красавица в длинном, до пола, бархатном халате с вышивкой, — это моя бабушка».

«Бабушка, подними шпильку, а то я ручки запачкаю», — обращалась она ко мне. «Внуче» было уже лет двадцать. Когда я рассказала этот эпизод ее маме, та схватилась за голову: «Я так и знала, я чувствовала, что это бабушка так ее избаловала, что довела до болезни, до постоянных депрессий!»

Молодежь особенно грустно видеть в этих стенах. Одна подсаживается ко мне и просит, как Маленький принц легчика в пустыне: «Я ничего не знаю и не умею. Научи меня рисовать». Она только что блестяще сдала сессию, перенапряглась, от чего и заболела, но спорить с ней бесполезно. Я рисую какой-то цветок, девушка отрицательно трясет головой и забирает листок: «Нет, ты неправильно рисуешь». Идет искать того, кто научит ее рисовать правильно. Эта мысль тоже одна из спутниц депрессии: я ничего не умею, все что-нибудь умеют, а я не умею ничего.

Жажда правильной, совершенной жизни во всем, чтобы ты не делал, тоже может довести до болезни. Одна девушка уже не раз попадает в клинику потому, что она хочет делать все на «ять». И сына растить, и дом вести, и работу выполнять. А на «ять», как она считает, у нее не получается. Когда мы с ней в тихий час провернули целую операцию по сдаче стеклопосуды, я ей говорю: «Вот ты и справилась «на ять». — «Нет, — отвечает она, — я только исполняла, руководила ты. Я бы не могла». И дальше шли привычные вздохи. Неужели жажда совершенства тоже может стать манией?

Родом из детства

Депрессия усиливается. Свидетельствовать депрессию — вот все, что мне остается. И постигать смысл: зачем мне дан этот путь вспышек и сгорания души, почему я с детства не могла совпасть с плавным, не катастрофичным течением жизни? Помню, еще в детстве я

подолгу наблюдала за движениями продавщицы, продававшей мясо — она так была полна до краев простым этим действием, так слитна с ним. Конечно, слов этих я еще не знала, но меня поразило и очаровало это фундаментальное спокойствие. В отличие от меня — несомненность живущих. С тех пор я часто приглядывалась к людям, не отягощенным печатью раздвоенности, брала на вооружение их повадки. Потому что у самой, с детства, не было этой слитности.

Помню, мне лет пять, стою во дворе (мы тогда жили на селе), с недоумением разглядываю фантик от конфеты «Счастливое детство», а там какие-то дурехи на качелях качаются, и поражаюсь неправде взрослых, выдумавших себе для приятных воспоминаний это «счастье». А рядом со мной, вертящей фантик, мальчишки, намотав длинную веревку на шею тощей кошки, со всего размаха раскручивают ее и бьют головой об угол сарая. Я парализована: как вмешаться? Один из изуверов тоном глашатая объявляет всем, что кошка сия разорила птичье гнездо и, значит, эта казнь справедлива. Я знаю, что это чудовищно, но у меня нет слов, чтобы объяснить и прекратить это. Поражала спокойная, никакими противоречиями, вроде, не обремененная жизнь окружающих. А тут кутята в деревянном сортире кричат, их просто выбросили, чтоб утопить. Ну кутят-то я вытащила, и мы их с девочками отмыли и откормили. Тут страшнее другое: равнодушие, привычка к тому, что гибнут живые существа. Один знакомый писатель сказал, чтоб я выбросила этот кусок про детство: он банален, через это все прошли. Может, и банален, но я вот — не могла просто так пройти.

Я решила отказаться жить в такой жизни, где убивают кошек и топят в сортире кутят. Из смутных разговоров слышала, что кто-то из взрослых бросился под поезд, мне же было пять лет, а, значит, высчитала я, мне подойдет что-то поменьше — велосипед, например. То, что меня спасут, в мои планы не входило, главное было — броситься.

Ох и перепуган был почтальон, развозивший почту на велосипеде, когда я забарахталась у него под колесами. Сбежались все соседи, бранили почтальона, и никто так и не узнал правды, даже родители. Став постарше и оставив попытки суицида, я все же сочинила для себя фразу: «К мысли о самоубийстве нужно привыкнуть, как к домашним тапочкам».

Это была тайная внутренняя речь. Разделить мне ее было не с кем. Бога не было, как сказали мне мои родители, это только темные старухи в церковь ходят по привычке. Церковь у нас была через дорогу, и мы часто наблюдали, словно театр, церковную жизнь. Лишь одна моя бабушка, с Волги, деревенская (вторая была городская), когда я со всем пылом научного открытия в какой-то ее приезд заявила: «А Бога нет! Там спутники летали и ничего не нашли», ответила с добродушным спокойствием: «Ну и пусть летают, а Бог все равно есть». И такой покой исходил от ее полной фигуры, так уютно лежали руки на животе, что мне эта простота ответа запала в душу, хотя и защищалась я от нее тем, что бабушка, конечно же, отсталая.

С тех пор свидетельствую: ни один близкий мне человек (книги — не в счет) так и не сказал мне простых слов: «Бог есть». А как светло могла бы тогда сложиться жизнь моя! Или это я только теперь так думаю?

Вот еще одно противоречие детства: папа работал на селе (тогда в села посылали из города отряды механизаторов) большим начальником. И вот в один вечер во двор дома стала въезжать машина, груженная углем. Это папа, пользуясь «служебным положением», хотел подбросить казенный уголь домой. Мама коршуном на него налетела. Водитель растерялся и наехал на молоденькое деревце, которое так и осталось расти под углом к земле. Когда меня просили в больницах рассказать случаи из детства, я вспомнила это деревце, а еще как мама нас походом против отца водила. Психиатры слегка раздражались, что я опять

заговариваюсь. А я не заговаривалась: мама построила нас с сестрой шеренгой, научила маршировать (мы репетировали до прихода отца) и скандировать перед ним: «Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой».

Я преклоняюсь перед маминой чистотой и непоколебимой честностью, ее презрением к незаконным, нечестным действиям, но все-таки в том случае он был очень жесток, этот поход. Помню растерянное, побледневшее лицо молчаливого отца, в которое я старалась не смотреть.

Когда я была еще в Ганнушкина, он уехал в Усть-Илимск подработать. Я часто в мыслях окликала его песней про Усть-Илимск: «...Оглянись, неприметной таежной сосной уж давно я стою за твоею спиной». Ночью в темном холле я колдовала, чтоб они опять стали вместе, мама и папа. И однажды я чуть не вскрикнула от радости: на диване рядышком сидели две фигуры. Но когда включили свет, никаких фигур там и близко, конечно, не было. Корчак писал, что дети долго хранят на груди разорванные стяги семейств. Я даже и сама не знала, что так долго. Может — всю жизнь.

Я же отчетливо помню тот фантик и свою твердую решимость, раз уж не удался случай с велосипедом, вырасти, все запомнить и рассказать взрослым настоящую правду о детстве. Может, потому я пишу все время о воспитании, о детях, что глубоко внутри сидит наказ той недоумевающей девочки, которую мне пока нечем утешить.

.. Была у Владимира Анатольевича, он сказал, что я живу в идеальном мире, который от столкновений с реальностью все время разлетается на куски. Что ж, тогда несколько вариантов: забраться высоко в свой хрустальный дворец, чтобы никакая реальность туда не добежала; второй — выбросить все эти алмазы-изумруды и смешаться с толпой. Но я выбираю третий путь: расширять и расширять пространство идеального, оставаясь с людьми, зарождаю его в любой точке, где нахожусь, чтоб всем, даже незаметно как, но становилось светлее.

Я уже не так наивна, чтобы отрицать в мире зло (это просто в моем мире его нет), недооценивать его мощь. И потому будут новые и новые развалины, депрессии. Страшно? Очень. Но у меня нет другого пути. Александр Мень дал мне ориентир, что Царство Божье и сейчас является среди людей, когда им светло и хорошо, его только нужно уметь замечать. Но Боже мой, неужели в моем случае за этим светом каждый раз следует новое распятие? Впрочем, депрессия — это еще не крестные муки. Нам, людям, не дано даже представить, что чувствовал на кресте Распятый.

...Пришел мой любимый ученик Павлик, прочел написанное, сказал, что книжка нужна. Значит, надо писать. Тем более что ничего другого делать просто не могу.

* * *

...А я их все равно украла, и не для мамы, как она решила, а для себя. Просто очень, очень понравились, когда мы были у маминой портнихи: зеркальце в узорной пластмассовой оправе и часики. Украла и спрятала под диван. Когда портниха пришла к нам, я тут же туда полезла, чем и выдала себя. Зеркальце мы с подругой раньше перепрятали под саж (это такой домик для поросенка), и она долгие годы меня шантажировала, что расскажет.

Я же лично так и не раскаялась, но тащить вещи перестала, помня о мамином смущении и желании во что бы то ни стало меня защитить. Пыталась я нащупать и совесть... Когда

родителей не было дома, я на вешалке стала шарить по их карманам, внимательно вслушиваясь, когда во мне заговорит «голос совести». Ничего не услышав, решила, что никакой совести нет, это опять ее взрослые придумали. То же и с красотами природы. Я никогда в детстве не умела ими любоваться, они были для меня чем-то вроде мертвых декораций. Я ужасно комплексовала от этого, поддакивая окружающим в их восторгах. В мире, где нет Бога, детям выжить очень сложно. Себя я представляла каким-то пыльным резиновым мячиком, который забросили в игре за наш каменный забор, в заросли крапивы, да так и забыли. Кто бросил, во что играли — неизвестно. Забыто. Но как объяснить эту заброшенность врачам, когда они спрашивают о детстве? Мне теперь уже кажется, что я всегда была больной. Поэтому история моей болезни перерастает в историю моей жизни.

...Господи, как она мне надоела, и жизнь моя, и болезнь моя, да и книга эта тоже. Согласна с Сальвадором Дали: если выбирать между написанием еще одного шедевра и одним днем, но прожитым со всей полнотой бытия, то он выбирает день, а не шедевр. Может, это потому, что у него шедевров куры не клюют, а у меня их вовсе нет, да и не надо их. Я жить хочу.

...Как я в кровь сбила колени, вымаливая перед больницей, еще дома, у Девы Марии хоть кусочек возможной жизни для себя. Ковер был жесткий, колени потом долго не заживали, но помню, что готова была ползать хоть вечность, чтобы вымолить прощение то ли за свой, то ли за чужой грех. За все то, что мы все натворили. В чем он — я плохо понимала. Но я твердо знала, что он есть и он чудовищен. Вот так я ползала по ковру около часа, а все равно нечем было дышать, негде было жить, некуда приткнуться — пока я не забралась под журнальный столик, сжалась вся и поняла: прощена. А дальше, пожалуйста — зовите санитаров, тащите вязки — это уже не важно.

Девчонки в больнице потом с ужасом смотрели на мои колени, а я отвечала им просто, чтобы и намек на зазнайство не было: «У Матери Божией прощение вымаливала». Ничего особенного, что говорило бы о моем особом предназначении, не было. Да и сейчас я считаю себя не мученицей, не избранницей, а просто более живой, что ли, чем большинство. И потому периодами — более мертвой. Ни знамений, ни откровений в детстве не было, только однажды было что-то похожее в березово-золотой роще, где само золото словно шептало и шуршало на ветру. На меня снизошло нечто, что точнее, чем словом «благодать», я назвать не могу. Ничего идеального, возвышенного я в своем детстве найти не могу — только неистребимая жажда этого возвышенного, только журналы «Юность» с зачитываемыми до дыр Евтушенко, Рождественским, Вознесенским. Они были наши кумиры, их поэмы звучали со всех школьных сцен, это у взрослых был Солженицын, а для нас «Иван Денисович» был уже историей, нам же, промежуточным — между шестидесятниками и семидесятниками, так никто и не сказал в конце оттепели, что «лафа» кончилась, мол, разъезжайтесь по домам, ребята. Мы же не просто в Москву учиться, мы к тем на подмогу спешили, которые там у памятников стихи читали.

Приехав, обнаружили полную пустоту. Нам и тут ничего не сказали — а ведь в эти дни, летом 1968 года, совсем рядом с нами, на Красной площади, стояла Лариса Богораз со товарищи. У меня самой парень служил в армии, участвовал в чехословацких событиях, и в августе, когда я поступила в университет, а он демобилизовался из армии — мы встретились, но, убей бог, не помню, о чем мы говорили. Все мои мысли были направлены на то, заметит ли, оценит ли он мою губную помаду (впервые накрасила губы). Поверьте мне, я была самая обычная, разве что слишком доверчивая и простодушная, но никакого интереса к мистике у меня и близко не было! И никаких таких способностей, которые мне потом приписали.

Крестовый поход детей

Не познакомься мы осенью 1968 года с Валерием Хилтуненом, Хилом, сидеть бы мне сейчас не в депрессии, а, быть может, в ладном доме с ладным мастеровым Хозяином да приглядывать за множеством детишек. Впрочем, зная свою авантюрную натуру, я в этом не уверена. А вместо этого...

Конечно, пойти в то время спасти коммунистические идеалы могли только дети и горстка взрослых, тоже «свято веривших». Вот мы и пошли. Взрослые в Ленинграде в конце пятидесятых разработали теорию, методику, как вырастить коммунаров, и мы пошли их растить. Самим-то было по семнадцать-восемнадцать лет. Чувствовался некий надлом, надрыв в наших намерениях, я пыталась слинять от Хила на свидания, причем демонстративно назначала их на месте наших сходов, чтобы продемонстрировать, что это естественно, а сходы его искусственны. Так я сохраняла критичность разума, пока меня не вывезли в Пермь, на юбилей местной коммуны. И там, вроде, ничего не случилось: погода была отвратительная, нас потащили к какому-то очередному революционному памятнику, что у меня в печенках сидели. Но потом... потом как-то из штрихов, деталей, из радостной атмосферы, добрых, улыбок и красивых песен в кругу родилось новое чувство, и лед моих сомнений растаял. Люди вправду становились братьями друг другу за какие-то три-четыре дня и невозможно было на заснеженном вокзале разорвать наш круг, поющий под гитару:

Становятся помехою другие города,

Опять друзья разъехались неведомо куда.

Прости, не знаю имени, но это — не беда.

Возьми меня, возьми меня

в другие города.

...Не знаю, чем это объяснить, но впервые попав в «психушку», я передала Хилу: тут как на сборе. Понимаете, какое-то качество энергии, густой и плотной, чувствовалось и здесь, и там. Только в больнице работали очень уж топорно — да и цель была другая. Наш Хилтунен, как теперь говорят, «косил» под Владимира Ильича — даже его почерк уже невозможно было отличить от ленинского. Мы устраивали коммуны в обычной общаге и в общежитии для иностранных студентов, куда нас поместили на втором курсе в качестве «эталонов советских девушек и юношей». Как ни смешно это нам самим казалось, но так, вроде бы, и получалось. Мы первым делом наладили у них коммуны, детей шейхов и прочих султанов научили мыть тарелки с обеих сторон, а не с одной только, что их несказанно удивило, потащили всю ораву в кинотеатр «Баррикады», где у нас был свой коммунарский клуб.

Никогда мне не забыть наш разношерстный, бесшабашный, воодушевленный, разноязыкий молодежный круг общения, в котором казалось, что совсем скоро — коммунизм, причем на всей планете. Мы решили с Муной из Иордана и Лили Кожман из Израиля — стран, воевавших друг с другом, — специально поселиться вместе в одной комнате в качестве иллюстрации коммунистического интернационализма.

А потом я ходила к Муне в больницу, когда та свихнулась от всего, что у нас увидела, утирала слезы Лили, когда она обнаружила, что на демонстрацию у нас загоняют силой,

отпаивала валерьянкой девушку-смуглянку из Судана, когда ее называли в такси черномазой. Им было еще трудней, чем нам, мы-то пытались свести концы с концами, видя противоречия, а зарубежные коммунисты были воспитаны на том, что Советский Союз — это рай земной, готовое царство справедливости. Очень удобная учебная модель. Нет, мы не были «борцами за правду» — есть такой диагноз в психиатрии.

Мы были мечтатели и пересмешники. Маршируя возле обкомов партии, скандировали: «Да здравствует наука, технический прогресс и мудрая политика ЦК КПСС!» Ни один милиционер не мог к нам придаться. Пересмешники, но не циники, как те, другие, которые были наверху в ЦК и которым я поначалу, работая уже в редакции, старалась верить. Но и там циниками были не все. Среди них у меня до сих пор осталось много друзей — таких же «подпольщиков» в комсомоле и партии, какими были мы, коммунары. Иван Иванович Зюзюкин, известный детский писатель и публицист, на недавнем праздновании юбилея «Комсомолки» сказал, что мне надо было бы родиться лет на десять-пятнадцать позже, — тогда я была бы аббатисой какой-нибудь обители, потому что всегда во что-нибудь верила. Я сказала, что вряд ли, потому что курю. А он ответил, что тогда уже и курить в монастырях будет можно.

Так что если коммунизм — это безумие, то госпитализировать придется очень много людей, причем не только анпиловских «ряженных» с мегафонами на площадях, не озлобленную деклассированную массу, а тихих, но упрямых романтиков, большинство из которых раскаялось в своем отходе от Бога, в своих попытках самолично, своими руками, превратить планету в цветущий сад. Это «бред реформаторства» и «сверхценные идеи», я согласна. Раскаялось — но не может и сейчас отойти в сторону, продолжая творить некие идеальные построения с людьми, особенно с детьми, и уже не называя эти построения ни коммунизмом, ни коммунарством.

...Будучи привязанной к койке и вынужденная молчать, я пальцами ног выстукивала на спинке металлической кровати песню Володи Ланцберга:

Ребята, надо верить в чудеса,

Когда-нибудь весенним утром ранним

Над горизонтом алые взметнутся паруса,

И скрипка запоеет над океаном.

Попытки детей (а нам ведь не было и двадцати) спасти партию — нет, вру, начхать нам было на партию, мы хотели сами, своими руками построить коммунизм — для одних кончились психушками, для других — пожизненной травлей, для третьих — разрывом с родителями. Отец Лены Беляковой, ответственный работник ЦК партии, выгнал в то давнее время ее из дому: «Не потерплю в своем доме абстрактного гуманизма!» Это он к тому, что в наших законах было сказано: «Наша цель — счастье людей», «Живи для улыбки товарища» и так далее, но ничего не было о классовом подходе, о диктатуре пролетариата.

...Когда-то Лев Николаевич Толстой сказал доехавшим до него марксистам: «Вот покажите мне свое коммунистическое евангелие — и тогда я в вас поверю». Я против того, чтобы переписывать священные книги, создавать новые религии и тому подобное. А вот свод нравственных законов — другое дело, его можно сочинять, особенно для детей. Ведь и Закон Божий можно в школах опять так преподавать, что очередной мальчик, как и Володя Ульянов, воспитанный в набожной семье, после конфликта с преподавателем закона этого

выскочит без пальто на снег, яростно разорвет веревочку и растопчет крестик. Известно, что будет потом и с ним, и со страной.

По сути, мы и писали что-то вроде коммунистического евангелия, сами того не зная. Попросту это законы жизни коллектива, они могут объединять и верующих, и неверующих детей, а свой топорный «Моральный кодекс строителя коммунизма» пусть анпиловцы блюдут. У Церкви тоже хватит сил для грамотных библейских книг для детей. Но, может, пригодится еще и наше «евангелие» — ведь детям так нужна своя организация!

...В общем, продолжаю свидетельствовать: пишу опять бред «социального реформаторства», находясь от всего этого в депрессии на даче. Я не отвлеклась. Я и в больницах все время об этом думала. Я потому туда и попала.

Но меня удивляют многие мои знакомые и друзья, о которых словами Остапа Бендера можно смело сказать: «С таким счастьем — и на свободе». Один Хил чего стоит с его поисками Нового Света в расщелинах Гималаев! Так до Шамбалы и не дошел пока. Ничего, доберется. С собой носит постоянно блокнот, куда безостановочно записывает, что съел, что подумал, что услышал — объясняет, что археологам будущего он облегчает их задачу: исследовать, каким был средний человек в двадцатом веке. Только вот человек он — не средний, а некая помесь Маркса с городским сумасшедшим, даже чисто внешне: в бороде и в валенках или в лаптях.

Или вот, к примеру, мама моего воспитанника, медсестра клиники неврозов, сама себя обнаруживает периодически... висящей под потолком.

А к другу Юры, архитектору и экстрасенсу Ильдару на массаж продолжает являться уже с того света Владимир Высоцкий и, как Ильдар говорит, все так же продолжает материться. А я под потолком не вишу, с Высоцким не встречаюсь, Шамбалу не ищу. Они, выговорившись, расходятся по своим делам, а я, наслушавшись всего этого и пытаюсь как-то все это увязать, опять оказываюсь в больнице. Хил, правда, навещает, передачи носит.

Он прятался за мою спину от нападков Гены Жаворонкова, известного нынче правозащитника, а тогда заведующего нашим школьным отделом в редакции. Понимаю, что для диссидента Жаворонкова мы все были безмозглые котята, замутнявшие своей коммунаской «сказкой» всю чистоту и трагизм противостояния Системе. Андрей Чернов, тогда еще начинающий поэт, доехал до нашего комму-нарского лагеря в Карелии и сочинил две строчки:

Коммунары, камуфляжи,

Кому — нары, кому — пляжи.

Очевидно, нары он предназначал диссидентам и прочим героям. Я не была героем. Но «на нарах» — в психушках — отсидела в полной мере за всех коммунаров.

...Господи, не пропадай, строчка, пишишь, иначе мне — хана.

Жизнь, дай силы вытерпеть.

Я знаю: это пройдет. Однажды утром я проснусь, осторожно ощупывая себя изнутри, другим человеком. Но это будет другой человек. А это, нынешнее существо, задавленное немощью и страхом, так и останется здесь. На волю, к людям выскочит другая. А эта останется одна в

казематах, пока в отведенный срок беглянка не свалится сюда же, но уже тоже со сгоревшими крыльями и в тех же лохмотьях, что и предыдущая.

И кому нужна такая жизнь, чему служат все эти вечные сгорания — мне неведомо. Но тут мне пришли в голову строки: «Ступив на свою тропу, не спрашивай, куда она ведет, лучше еще раз убедись, точно ли это твоя тропка». В школах искусств и во всех прочих творческих заведениях детей надо бы предупреждать, что искусство — не вечный взлет, а чаще всего падения. Полное сгорание. Так что подожди, не надо резать вены в эти периоды. Но все равно ведь не скажешь: сгорай осторожно. Подвиг не в сгорании. Подвиг — жить после того, как ты сгорела.

Читать не могу, на улицу — тошно, лежать — спина болит, поистине Божий дар — умение выводить каракули: как ты там, Гарри, в чьем теперь облике?

Я — все та же, я все там же — в депрессии. Юра все там же — в горах. Сказал как-то по телефону, что выбираться я должна сама. Не сочти это жестокостью, как счел Владимир Анатольевич, просто тут на днях приходил мой бывший воспитанник из Политического лица, говорит, что не устает себе и другим повторять мою фразу, что все мы здесь, на земле, — только на задании, в командировке. И это воодушевляет уставших. Я верю: мы так и работаем вместе — ты, я и Юра. Даже не видясь. Тебя нет, Гарри, но есть твой образ, я его рассказала в своих сказках, о тебе теперь многие знают.

В больницах я бредила, что бестелесные существа иного пола и вообще иные — другие, чужие — лезут к моим девочкам, пользуясь их незащищенностью разумом. И велела девицам, если впускать, то только через комнату свиданий, только чтоб галантно приподняли шляпу, только выбрав свободное место на скамейке.

Мне Тамара Георгиевна рассказала, как больная, развалившись на полу, — нет, даже не ложась оставаясь на ногах, испытывала оргазм безо всяких со своей стороны усилий. Они же, бестелесные, всюду сумеют пролезть. Да простят мне Ма хатмы, Великие Учителя Востока, но я и их появления боялась.

Юра «утешил», показав, как отличить галлюциацию от реального существа — оттянуть назад веко, и если изображение исчезнет — значит, hi галлюцинация. Чудесный совет! Да я как увижу чтонибудь этакое — сразу в обморок упаду, до отяги вания века просто дело не дойдет.

Вот он, стоит у меня фотографией на столе. Н^о я не буду плакать, что его здесь нет. Потому что на соседней стене — фотография «Приюта шести» — так они назвали свой домик в горах в честь погибших ребят. А для нас с ним дороже детей ничей нет. И вообще — есть «Архипелаг ГУЛАГ», но не в массовом сознании погибшей Атлантиды детски: клубов, коммун, секций. Она просто ушла под воду} Вот уже первые археологи появились: некто Рома] Синельников ведет запись всех коммунарских пещер, откапывает историю коммунарства, издаст сборники.

Это целая субкультура — коммунарство со своими песнями, гитарами, законами, речевками. В никаком слове не передать, что мы чувствовали: свежие, подтянутые после бессонной ночи, когда вышагивали летом вдоль открытых окон, откуда несся храп и сопенье, а мы шли мимо, и с Калининского проспекта взлетали в небо голуби, розоватые от восхода солнца. Мы залезли на крышу киоска возле метро Краснопресненская и пели, обнявшись, песню на стихи Светлова:

Вот в предутреннем свете,

Над землю горя,

На красивой телеге

Выезжает заря.

Не уснем мы, товарищ.

Надо нам обсудить,

Как на эту телегу

Всех людей усадить.

Обсуждать в отделении милиции пришлось совсем другое, когда нас сняли с крыши. Но и это не испортило нашу песню, и крышу, и розовых на утреннем солнце голубей, взлетающих с пустынного проспекта. Нас была горстка, но мы верили, что переменим этот мир со временем, а из окон на рассвете будет нестись не храп, а хорошая музыка.

Эка невидаль — описать собственную юность. Откуда же тогда эта печаль? Нет, не оттого, что не сбылось. Юности и положено быть несбыточной. А оттого, видно, что все это для меня воплотилось в болезни, что те рассветы обрушились черными дырами мрака, небытия, депрессий. Что мои друзья остались верными своей юности, все реализуют свои проекты, а я все сижу над очередной грудой развалившегося даже не Дворца, а просто постройки и не знаю, как мне жить дальше с этой «болезнью. Каждый час, каждые два часа — как жить?

Я понимаю: депрессию надо изживать, проживать, переползая на тот, живой берег, к нашим, к живым.

...Как-то раз я проснулась в диком, цепенящем ужасе: «Мама! Людей нет!» Был ли это сон или видение, не знаю. Но ужас был огромный. Моя находчивая мама не растерялась: «А вот мы есть с тобой, нам больше никого и не надо». А мне так даже очень было надо. Мы с юности мечтали всех людей в свою телегу усадить. Шут с ней, с телегой, лишь бы люди были живы.

На наших собственных планетках — дома, семьи, круга общения — кое-что получилось. Все говорят: «Ах, какая свобода, какая атмосфера». Но зем-шарик нам не доверили. И правильно сделали. Мы бы его подарили детям, а те бы такое устроили! Кор-чак это уже описал в сказке про Короля Матиуша.

...Владимир Анатольевич, знакомясь со мной в Центре, пытался выяснить, есть ли у меня друг, которому можно позвонить и в два часа ночи. А я твердила, что не понимаю, почему нельзя подождать до утра. Отчаявшись, доктор резюмировал: «Значит, так: у вас есть муж (я тогда была замужем за Леонтием), а все остальные — друзья». — «Правильно», — обрадованно кивнула я его понятливости. Правда, опять он, наверное, не понял: друг в нашем смысле не тот, с кем выпивают, а кому звонят, когда есть дело. И только при встрече уже — объятия, поцелуи. А так — мы даже не шлем друг другу писем.

Хоть давно мы не виделись, старче, — плевать.

Каждый шаг, каждый вздох твой мне слышен за тысячу тысяч локтей.

Ты молчи, ты тихонько гребь, Ты под солнцем тогдашним потей,

Может, снова на нас снизойдет синева.

Мгновенно собрать деньги, выехать на помощь, разрешить конфликт на месте — это мы можем. Но мы не знаем, как лечить депрессию. Не знаю, почему, но я остаюсь практически один на один с болезнью помимо мамы, доктора и еще двоих ребят, кому могу жаловаться по телефону. И то это мне везет!

...Сейчас почувствовала себя теткой в зеленом халате, которая то и дело переплетала жидкую косицу и, покачиваясь на своей кровати в Ганнушкина, безостановочно бубнила, едва увидит белый халат: «Доктор, подойдите ко мне, я вам расскажу кое-что интересненькое. Это история всей моей жизни. Не пожалейте!» Ее даже никто уже не замечал, да и говорила она, уставившись в пол. Ладно, хватит о больницах, пора опять о друзьях.

...А ведь, выходит, правильно нас громили и закрывали обкомы, райкомы и прочие КГБ за сектантство. Мы и были сектантами новой, более живой, чем ортодоксальная, коммунистической религии. А те, кто с нами боролись — ортодоксами. Не моя мысль: в той России коммунизм никогда не был подлинной наукой, хоть и зубрили его во всех школах, он всегда существовал в форме религии. Поэтому с такой яростью, поражающей советологов и современных интеллигентов, народ-богоносец крушил купола и кресты: в этом, по-моему, была не слабость и поверхностность веры, а, наоборот, ее сила — сила веры в нового Бога — в человека. На развалинах храмов хотели возвести новую религию. Это мироощущение хорошо знакомо мне самой и моим соратникам: мы все мечтали быть Доном Руматой из романа Стругацких «Трудно быть богом». Не знаю, какие цели преследовали писатели, но для нас они своими героями-звездолетчиками заменили иконостас в нашей невидимой, глубоко в сердце хранимой «церкви».

Внешне это был просто круг ребят, сидевших вокруг свечки, что и дало формальный повод обвинить нас в сектантстве. До серьезного анализа огромной мощи коммунарства дело не дошло: разогнали с десятков коммун да запретили употреблять в печати этот термин, вот и все.

Я же считаю основой болезни — и своей, и многих — именно уход от Бога под таким детским флагом: «Я сам!» И планету спасу, и людей накормлю, вот мы сейчас в нашей собственной ООН соберемся с ребятами и все решим. И тебя, Боже, конечно, не забудем: будешь ты у нас тут в почестях и славе. А пока не мешай, дай порулить!

...К столу! Когда ускользает уверенность из-под ног, когда начинаешь барахтаться в страхах — к столу. Тысячи, десятки, сотни тысяч людей, страдающих моим недугом, лишены самой этой возможности — выкрикнуть, выразить свою боль.

От их имени я и пишу.

Да нет, вру, слезь с трибуны, Марина: я лишь продолжаю свидетельствовать свою болезнь. Ни от чьего имени, кроме своего.

У меня есть жизнь, и я ее играю

Выходит, вся моя жизнь — это болезнь. И история болезни просто и есть история моей жизни, отличная от огромного большинства только тем, что часть из нас попали в психушку, а часть Бог миловал. Но это еще не значит, что все, кто не стоит на учете — здоровые.

Мое очередное раздвоение началось в седьмом классе — с отчаяния. Первые два класса я проучилась в деревенской школе, а все последующие — в городской, элитарной, английской. Сколько было стыда, страданий и мук, когда я, не зная названия, просто попросила в школьном буфете коржик, а одноклассницы презрительно поправили: «Это не коржик, а курабье». Я сидела тихая, забитая, боясь даже повернуться к мальчику, сидящему сзади, а Танька Шевченко, зная мои сердечные тайны, то и дело дразнила меня, что сейчас все ему расскажет.

Положение было такое невыносимое, что в классе седьмом я решила взбунтоваться — и откуда что взялось! Может, верно говорил один профори-ентатор, что основное мое призвание — актриса. Я стала громче всех хохотать, удачнее всех шутить — в общем, стала душой класса. Но эта была видимость. Тот забитый ребенок так и остался внутри, я просто закрыла крышку погреба. С тех пор мне всегда удавалась эта роль «души компании», организатора и вдохновителя, но я-то знала, что это нечестно, в душе оставался зазор той тихони, которая не смела мне мешать, но была, очевидно, лучшей моей частью. Много позже, уже в университете, мне попала статья Лиды Графовой в «Комсомолке» и как крапивой обожгла. Называлась она «Быть или казаться».

Я-то всю сознательную жизнь наедине с собой задыхалась именно оттого, что приходилось казаться, а не быть. Потом я сменила термин — игра. Уверенно вышагивая, уже взрослая, по начальственным кабинетам, я говорила себе: «У меня есть жизнь, и я ее — играю». И хлестала себя своими же стихами:

... Актриса, лжесвидетельница, лгунья,

Мне роль не доиграть, не долюбить.

Лишь по вискам восходит новолунием

Отыгранная правда седины.

Я горько плакалась старшим товарищам, что они вот, шестидесятники, — честные, всерьез живут, а я раздвоенная, не цельная, играю, а не живу. Плакалась, а потом поняла, что они сами этот разрыв в себе просто не замечают, забыли и потому не видят свою театральность.

Так вот, именно в помешательстве, в маниака-ле эта раздвоенность почему-то исчезла, я ощутила себя цельным существом и, надо сказать, от болезни к болезни, выныривая из депрессии, становлюсь все тверже в этой своей цельности. Будто намывается песок под ногами, и почва твердеет. Или это я все более болеваю? В депрессиях же становлюсь еще более жалкой, чем та девочка, все эти годы просидевшая в погребе.

...Ну и пусть, пусть это будет лишь графомания, я и не скрываю свой шкурный интерес: зарыться в заросли букв от реальности, которая в депрессиях невыносима.

Спрятаться, скрыться — и все же свидетельствовать те дорогие мне образы, которые можно назвать произволом моего воображения. Я уже писала, что когда есть силы, то я отчаянно,

мучительно люблю людей, ловлю малейший повод пообщаться с ними. Это тоже, наверное, из опыта коммунарского утопизма: на сборах каждое лицо, даже незнакомое по имени, становилось безумно интересным, притягивающим.

И не только на сборах. У меня в Москве была коллекция подъездов — с вычурной лепниной, огромными фонарями в чугунной оправе, куда я часто приходила, чтобы просто послушать сквозь стенку плескание воды, когда моют ребенка, его лепет и фырканье. Заглядывала в окна на первых этажах за занавески, чтобы увидеть захватывающий сюжет: кусочек чужого бытия.

Мне и коммунары было дорого тем, что там сказано о любви к дальнему, а не только ближнему. В юности в своих клубах мы мечтали жить общим домом, общим подъездом. Да и не только мы — вот и Дом нового быта, по примеру коммун тридцатых годов, строился в Москве, но новый быт не состоялся, здание отдали под общежитие аспирантов.

Но с нами останутся наши сны. Мы их расскажем детям — может, у них что-нибудь получится.

Вот, например, мое видение трех городов. Самый роскошный, хрустальный, по мере просыпания стремительно удалялся, остался только зубчатой кромкой на горизонте. Другой город был даже не город, а пашня, куда откуда-то привезли людей, это были анпилов-цы. Они сложили свои знамена и транспаранты вдоль межи и стали обрабатывать землю. Молодцы, — подумала я, — наконец-то занялись делом. А третий город был самый уютный, простой и милый. Там жили не просто жители, горожане, а — соседи. Просторные холлы, удобные кресла на этажах отдельных квартир. После работы эти люди брали за руки или на руки детей и шли работать на огороды, на пашню. Этот город был почти узнаваем — вот только тихая радость и дружелюбие отличало его от некоторых известных мне внешне уютных городков.

...Явно становлюсь графоманом: уже неважно, что писать, важно писать, иначе весь мир рассыпается опять бессмысленными осколками. А так у жизни есть форма — слово. ...Гарри подарил мне облака. Когда ясно стало, что не увидимся, «мы» решили, что он будет посылать ко мне облака.

Юра подарил деревья. В день моего отъезда из его горного лагеря после ливня поднялась вода в реках, он куда-то бегал, привез вездеход, и такой зеленый, сияющий взгляд у него был на фоне леса, что я вдруг по-новому увидела деревья — не массу стволов с кроной и скучной корой (я любила цветы, не деревья), а каждый ствол в отдельности, каждую чешуйку и застывший танец ветвей над ними. Облака и деревья — не так уж мало.

Один молодой человек яростно доказывал мне, что для жизни этого мало, что вообще так, как я, жить нельзя.

А я вот живу.

Иначе не получается.

Я старалась, и не раз.

Как чисто, как звонко мы кончимся

Эту фразу я написала в самый ликующий, звонкий период любви с моим Учителем, еще до заболевания. Я увидела это как на картинке — с охапками жасмина вбегаем в комнату, в которой я жила в детстве, отражаемся в зеркале и зеркало — вдребезги. И нас больше нигде нет. Это ведь лучше, чем кончиться по капельке, как в песочных часах или в капельнице.

Почему-то именно в самые счастливые минуты любви с моими возлюбленными рождались строки о прощании:

В белых густых ромашках

хлещет шальной дождь.

А у меня однажды

был молодой муж.

Я прощалась с ними загодя, когда любовь еще царила на сцене, когда она еще не превратилась в сварливую нищенку, просящую стертые монеты былого богатства.

А с тем другим Юркой, ровесником, кто снился мне потом всю жизнь — это не Юра-Христос и не Гарри, мы и в совместной, такой далекой теперь жизни, не сказали друг другу о наших отношениях и пары фраз. Бродили по Москве с друзьями, говорили о газете, я как-то обиделась, что он меня не замечает и, глянув в вечернее небо, громко сказала: «Вот улечу». Он немедленно развернулся ко мне и очень строго, даже свирепо сказал: «Я тебе улечу!»

Когда же бесконечные переезды (у нас не было своего жилья) ослабили струну любви, он сказал только чью-то фразу: «Куда же потерялся он, хрусталик дня в начале мая?» Наш с ним дом всегда был полон людей, он, который, как мне казалось, меня почти не замечал, собрал однажды народ, а в конце заявил: «Сегодня вы были на нашей с Мариной свадьбе». Он как чувствовал, что в тот вечер я опять хотела от него уйти. Но как же я любила провожать его с балкона на рассвете в командировки: он шел упруго, собранно, не оглядываясь, а по обе стороны от него взлетали вспугнутые голуби. А то вдруг заявил однажды: «Я поехал в Коктебель к своему камню заряжаться вечностью». Чем-то это меня очень обидело. Я «усадила» на стул его плащ, приделала сверху его фотографию, когда же он позвонил, что долетел нормально, сказала ему о своих приготовлениях и что сейчас бить его буду. Через три часа он стоял на пороге, обнимая меня: «Ты с ума сошла!»

А однажды, обидевшись на бесквартирье, а еще больше на то, что его это совершенно не волнует (мещанством он считал даже подметание пола у него перед глазами, так что я должна была дожидаться его ухода), я ушла ночевать к подруге. Он поставил условие, что я должна вернуться к таким-то часам. Я не вернулась, мы расстались. В отделе нас очень хотели помирить.

Гена Жаворонков потащил его ко мне на день рождения, но он и там себя вел так, будто меня вовсе нет. Я передала гостей подруге, стремительно стянула шубу с вешалки и умчалась к Учителю, который только накануне меня провожал, и целовать ему себя я не позволила. Тут же он и сам удивился: «Ух, как быстро мы оказались в постели». Но к Юрке он ревновал всю нашу совместную жизнь. И зря. Каждая моя любовь — первая и настоящая. Просто с изначальной горчинкой какой-то, ибо я с детства почему-то знала, что так сильно, как мне нужно, меня никто не полюбит.

Один только Гарри, которого нет. Просто мне с детства втемяшилось, что любовь — непременно с первого взгляда и сразу под венец, и радостное ожидание ребенка. Мне это казалось очень естественным. Но мои избранники явно не спешили в загс, перспектива ребенка их не радовала, тут бы мне и уйти, но я каждый раз решала остаться и влюбить его так, чтобы он забыл все страхи. И к загсу все так и было. И я даже сама надеялась, что все у нас получится, но то ли я так и не могла внутри себя простить очередному мужу его изначальное «несказочное» поведение, то ли, наоборот, моя любовь была неглубока... Главное — наступала минута, когда я жестко говорила себе: «Опять не тот». И, значит, надо продолжать поиски. И вот сижу я теперь без семьи, без детей, в болоте депрессии, и лишь фотография «несбыточного» — на столе. Петр По-ложевец, мой друг и главный редактор «Учительской газеты», спросил у меня, тот ли это, к кому я стремилась всю жизнь. Я твердо ответила: «Да». А вот теперь, в депрессии, я и этого не знаю. Я знаю только, что искать я больше не буду, что жизнь без Юрки кажется мне бездарным туманом, а жизнь с Юркой — висением над пропастью.

...И все-таки они все живы в музее моей души — драгоценные невянущие цветы каждой любви. Просто не стоит во имя следующего чувства топтать, принижать остальные. Я была семь раз замужем. Юра говорит, что это мой педагогический отряд. Они все мои друзья, даже больше — родные люди. И неважно, кто был прав, кто нет, кто больше любил, кто меньше, важно лишь одно: любовь — была. И в итоге я очень радуюсь, когда мои бывшие мужья женятся. Правда, не все. Один из них сказал мне: «После тебя трудно жениться».

...Заварю себе еще кофе, зажгу сигарету и буду дальше писать, чтобы не плакать. Вытру слезы.

...Последний, Леонтий, сказал, что я создана для любви, потом стал мучить меня по хозяйству, чтобы я в чистоте держала металлическую посуду, потом ужасно засуетился, сказал, что это не для меня и спасти нас может только творчество, усадил за предыдущую книгу, сам выстроил ее композицию. У него было мало денег, но он привозил мне всегда удобные, дешевые вещи. Только самоубийца может отказаться от такого мужа и избрать бродягу, который у меня в рамочке на столе. Все внимание Леонтия было поглощено мной, все внимание Юры будет поглощено детьми. Но я ведь тоже их люблю.

Надо выбирать человека из своей стаи.

Золотой у меня Владимир Анатольевич —я ему сказала, что пишу книгу о своей болезни и ужасно боюсь, что допишу ее, потому что тогда — только головой об стенку биться, а он мне сказал, что всегда подбросит новую тему. А вообще женщины затюкали сейчас мужчин совершенно несправедливо. Если сдержан и целомудрен — значит, «голубой». Если весельчак и душа компании — значит, бабник. Я только сейчас, на своем примере, начинаю догадываться, какие у них прекрасные, любящие души и как жестоки мы ко всему тому, чего не понимаем в них и не можем понять, просто потому, что они — другие. И в психушках «от любви» далеко не только женщины лежат.

Вообще любовь — основной диагноз психушек. Чаще всего мужчина для женщины нынче — объект для охоты. Вот это я точно по себе помню: охота. Почему-то с глубокого детства я была уверена, что меня просто так никто не полюбит. Мама, считавшая всю жизнь, что страдает от своей красоты и гордости, ни разу не похвалила меня, и я считала себя дурнушкой, а сестру мою мама подхваливала, и та выросла в полной уверенности в своих чарах. И так как на чары свои я не полагалась, а на случай «с первого взгляда» тоже нельзя было определенно рассчитывать, то я решила искать сама. Завораживать, завоевывать и прочие глупости. Поэтому совершенно справедливо мужчины сейчас женщин побаиваются:

каждая жертва тоже ведь чувствует охотника.

И меня от любой пошлячки-охотницы отличает лишь то, что я и вправду любила. А так — те же приемчики, те же выкрутасы. Встреча с Юрой помогла мне понять всю их пошлость и нелепость. В каждом письме — а писала я ему каждый день — давала честный отчет, правду ли я сказала в том или в ином случае или подсознательно все-таки хочу ему понравиться.

...Юрка, давай возьмем тайм-аут у текста и просто вспомним жизнь. Как мы сидели у тебя в Орехово-Борисово на кухне и наговориться не могли, как твоя тетя Вика приходила нас разгонять, как ты прищелкивал пальцами, докуривал мои окурки. Юрка, неужели нам осталась лишь память?

А помнишь, мы гуляли по пирсу в Туапсе, и ты подарил мне охапку сирени, сказав, что никому раньше сирень не дарил и вообще цветы дарил только в самых исключительных случаях. И еще сказал, что у нас с тобой каждый вечер — как выпускной. И еще сказал, что так видишь мир только со мной и с ребятами. Я поняла, что ты имел в виду — это когда все вокруг имеет свой смысл, и видение цельное, и ни одну деталь не просто не хочешь, но и не можешь пропустить, прохожих слышишь, даже если идешь по другой стороне улицы, и когда мгновенно понимаешь раскладку любого конфликта, драматургию любой группы людей (а тогда уже можно вообще не действовать, а так просто — платок уронить, оно все и устроится).

Мир пронизаем, его смысл ясен для тебя, открыт. Но не чтобы описывать его и создавать новые теории или религии — а чтобы просто ехать в этом автобусе, человеком среди людей, выйти на нужной остановке уже среди новых людей, войти в метро... То есть: жить, как все живут, но с некоторым более острым, чем у других, обзором видения, масштабом мышления. А теперь я тебе скажу, что такое видение стало для меня постоянным только после последнего приступа и это постоянство даже утомляло, я к нему не была готова, я не знала, как с этим жить и постоянно твердила: «Хочу быть как все. И чтоб все было как всегда».

...Прошу тебя, не отвлекайся, как я, не клади кусочек сирени в гербарий, держи его в своей руке, ибо для меня наша жизнь грозит опять стать гербарием; депрессия — это смерть любви. Даже очень сильной... Но потом, если любовь настоящая, она вернется с еще большей силой. Ну вот, тайм-аут не удался, слишком интересные мысли в голову пришли.

...Мы же каким-то нюхом находим друг друга во всех наших «стаях». А сколько их было, этих стай, и счесть невозможно. Но каждый раз мы стремились именно к этому: к расширению картины мира в сознании ребенка и ее гармонизации (я не умею плевать, как ты, от занудных слов, поэтому просто пользуюсь ими, когда они подходят по смыслу).

...Сам понимаешь: я все хочу найти смысл и цель моего сумасшествия, надеюсь, что оно тоже чему-то служит, какому-то развитию. Мой младший друг Паша Зайцев сказал, что я своими текстами даю людям дышать — тем, кого осталось не так уж много. Что я проводник света и прочие хорошие вещи, когда я рыдала ему в телефон от своей тщетности и неуместности.

...Ночью, после похорон Листьева и заплаканного, растерянного лица Гурченко в кадре телепрограммы с этих похорон, я видела сон о ночном сборе актрис. Мы их провожали к месту сбора. Дело было ночью. Я зашла за Гурченко, она, не успев снять, опять надевала перчатки, раз надо куда-то идти. Я не знаю, что у них было, на сборе этом. Я только видела, что все они смертельно устали. Несколькими днями раньше по телевидению даже Ширвиндт в прямом эфире старался, но не мог выдавить из себя улыбку. Помню, что во сне той же ночью за мной «закрепили» Татьяну Доронинову.

...Санитарки в психушках похваляются своими пациентами: «Танечка Самойлова, как сыграет роль — так сразу к нам». Психушки давно стали бытом для многих семей. Печальной, привычной необходимостью. Психические болезни — заурядными расстройствами в числе прочих.

Я же упрямо хочу докопаться до причин, почему и зачем у меня все-таки крыша поехала и никак на место не встанет.

Какой в этом смысл? Если за грехи — то я знаю их, это грехи молодости. Один из священников хватался за голову: «Они ко мне идут с одним и тем же: блуд, блуд». Он даже избрал теорию, что дети реализуют подсознательные желания взрослых. А раз война разлучила мужчин и женщин, то сексуальные потребности ушли в подсознание. Вот выросшие дети и взбесились. Мы в свое время ни о чем таком не думали, просто первая волна сексуальной революции накрыла именно наше поколение, чье отрочество и юность пришлось на шестидесятые. Все запреты были сняты, как старомодные, новые нормы еще не были созданы, все стало можно с каких угодно лет. В нашем поколении все же существовал некий предел: до восемнадцати — нельзя, а потом — можно. Поэтому мы с моим первым мальчиком (для нас первым был тот, с кем ходят на свидание и целуются в подъездах), имея идеальные условия для физической близости — отдельную хибарку, где была его мастерская, задвигали занавеску, раздевались и просто подолгу друг друга рассматривали. И никто ни на кого не кидался. Мы с чистой совестью поехали на зимние каникулы к нему в деревню, и я очень удивлялась, что на нас смотрели из всех окон, как мы шли, держась за руки. Поездка в Москву на слет победителей Всесоюзного конкурса школьных сочинений полностью расторгла и без того непрочный союз с Лешей. Маме я рассказала о нашей поездке, но мне и в голову не пришло сказать ей, что мы уже целовались, да еще как. О целомудрии, потере невинности взрослые до сих пор, по-моему, не умеют разговаривать с детьми, поставив на место сказки про аистов учебное пособие про устройство половых органов и наводнив рынок порнографией. Вот и вся революция. Содрали покров тайны, сказки, от чего еще в Библии предостерегает сюжет о пьяном отце и поведении его сыновей, и получили восьмиклассниц, рожаящих сразу двойню. А бывает, шестиклассницы, и даже еще раньше. Я хорошо знаю нашего ведущего сексолога Игоря Кона, разделяю его взгляды, но порой мне хочется спросить и у него, и у читателей: а не пора ли вернуть сказку, хотя бы для самых маленьких?

Недавно увидела, как на пляже на рваненькой подстилке, прижавшись друг к дружке, лежали двое настоящих ангелат лет по пять-шесть, постукивая зубами от холода. Я села рядом с ними, удивившись, как таких малышей отпустили одних на пруд. Оказалось, их молоденькая мама сидит с третьим малышом, а папы у них всех разные, они заняты на работе. «А интересно, как вы на свет появились?» — задала я провокационный вопрос. Востроносенькая, с мечтательными глазами девчушка пискнула: «А меня аист в клювике принес!» Вторая же, перевернувшись на пузо, с важностью ответила: «Не-а, а меня в капусте нашли». Я думаю, так рано помудревшая их молоденькая мама найдет со временем способ, когда и в каких формах трансформировать сказку в реальность. Детям ведь не меньше, а то и больше честности в половых проблемах нужна совсем другая честность: чтоб папы не изменяли мамам, а мамы хранили верность папам. Чтобы не было ссор за захлопнутыми дверями: «Детям этого знать не положено». Семья, где родители просто любят друг друга, ценнее ста томов самых мудрых пособий по половому воспитанию.

Говорят: любовь уходит. Не мне, конечно, с моими разводами об этом судить, но ее можно вернуть. Просто нужно, чтобы кто-то старший ненавязчиво взял на себя эту ситуацию.

...Когда я выяснила у вечно молчаливой Кати, что Леша уехал отдыхать один в Крым, я по ее

также вечному, но такому печальному сейчас «Угу» поняла, что надо спешить. Сразу по приезде позвала Лешу в редакцию, почти без слов мы все поняли (Леша — мой младший друг, воспитанник). Разговор у нас был жесткий, чуть не до Лешкиных слез. Я ему сказала: «Неволить я тебя не вправе, но ставлю условие: верни ту принцессу, которую ты взял со школьной скамьи и тут же сделал ее измученной матерью! Я не знаю, как, но верни— подарками, серенадами, чем хочешь, ты сумеешь, и вот когда у подъезда выстроятся в ряд лимузины, чтобы везти Катеньку на бал — только тогда имеешь право отпустить ее или самому уйти». Катя оказалась тоже восприимчивой к моим советам: нашла работу (малышку полностью взяли на себя родители), стала пользоваться косметикой — и теперь это семья, где я отдыхаю и душою и телом. Леха совсем одомашнился.

...Так вот, в начале семидесятых мне позвонила знакомая журналистка, принимавшая участие в моей юношеской судьбе, и стала умолять, чтобы я спасла ее восемнадцатилетнего сына, направив его к Симону Львовичу Соловейчику в Переделкино, ибо только он один может объяснить, чем отличается коммунизм от фашизма, потому что мальчик готовит восстание. Сима устало согласился. К нему все знакомые родители слали своих девочек и мальчиков с их бесконечными конфликтами. Илюша приехал, они хорошо поговорили и разошлись каждый при своих взглядах.

Я поняла, что «тащить» Илюшу придется мне. Я ходила за их ватагой вместе с психиатром Ильи, который считал, что Илью ведет мания величия, я была другого мнения. Илюша уже, как он говорил, поднимал рабочие окраины. Тогда я завела с ним роман. Я искренно восхищалась им. И он тоже. Он сильно в меня влюбился. А я с тех пор не знала покоя ни днем ни ночью, ибо Илья мне все рассказывал. Ожидая допоздна Илью, я по чисто российской привычке нашей вслушивалась в шаги в подъезде: не идут ли брать. Но я не боялась, я очень хотела, чтоб они пришли. Чтоб я им все высказала, до чего они довели страну и детей, что лучшие из ребят готовы опять идти «на Сенатскую». Но они не пришли. Вместо этого Илью вызвали в органы, порекомендовали не заниматься политикой, расспрашивали и обо мне. Илья сказал, что я всегда агитировала его за коммунизм, что было чистой правдой. Говорил он мне об этом так торжественно и героически, с бледным от волнения крупным своим лицом (он вообще был похож на Пестеля), что я рассмеялась — и тогда вдвоем еще с одним мальчиком из моего клуба они решили, что я — сотрудница КГБ и мой клуб нужен лишь как приманка, чтобы слетались мотыльки.

Вот тут я уже даже смеяться не могла, так тошно мне стало. На роман с ним у меня уже не хватало душевных сил, да и после разговора в органах он присмирел. Когда мы расставались, он сказал, что я такая же, как и все уличные девки, я и это стерпела. Я признавала частичную правду этих слов. Теперь они конфузятся, когда я им напоминаю об этом, просят, чтоб я их простила, что они жизни не знали, я же прошу: не Надо забывать ваш суд надо мной, не надо из-за знания жизни снижать требования к чистоте и правде любви. Строже моих ребят меня никто не судил. И я благодарна им за этот суд. И за то, что вопреки моим опасениям почти все они создали очень хорошие семьи, за редким исключением. Так, все они возятся с одним парнем, чтобы направить на путь истинный, а он говорит: «Это они мне все прощают потому, что я для них живое олицетворение, как нельзя жить. Не будь меня — они сами были бы хуже». Я же горжусь своим клубом еще и потому, что он так и продолжает оставаться кругом, в котором каждого видят, и судят, и прощают. Мы выработали свои нормы жизни.

Пригодились и мои советы. Все в клубе, как один, влюблялись в Женю Двоскину— хрупкую, прехорошенькую, с фигуркой вечного подростка. Она же надувала губки, когда очередной провожатый вызывался ее провожать, жаловалась мне: «Ну вот, опять всю свою биографию рассказывать». Узнавая об очередном поклоннике, отмахивалась: «А, это как

корь, все должны переболеть». Вот такая ледышка. Когда же к этой девочке-подростку пришла любовь, а он, как на грех, любил другую, то мы часа три просидели у озера в Ботаническом саду, и я рассказывала ей то, что должна была рассказать мама, о чем принято у подружек шептаться по углам, а мы с Женей обсуждали совершенно свободно — вернее, это я говорила, а она впитывала, глядя в траву и теребя цветы...

...Мне мой Учитель говорил: «Живем в грехе». — «Почему? — удивлялась я. — Ведь ты сам в наш первый вечер сказал, что тоже свободен». Оказывается, эта «свобода» значила вот что: когда гости в доме, то все вместе сидят за столом, а в остальное время папа живет в другом месте и туда никто из домашних не ходит: папа работает. Или как у моей подруги просто есть Старший муж и Младший муж.

Я никогда не понимала и не принимала такие семейные отношения, я не хвалюсь — может, просто потому, что у меня не было детей. И все же для меня жить не по лжи начинается с самого сложного — с семьи. Иначе эта ложь так и не отлипнет всю жизнь.

...Когда одна из старших наших девчонок-коммунарок, приехавшая из Челябинска с еще двумя парнями-коммунарами (потом оказалось, это был любовный треугольник), стала советоваться с Женей и Сашей Фурманом, делать ли ей аборт, и те пришли ко мне с полными ужаса глазами: как, убить живое? Про себя я тогда подумала: тоже нашла, у кого спрашивать, они ведь жизни не знают. Теперь я понимаю, что лучше не знать жизнь, сидеть в башне из слоновой кости с вмонтированным в ней маяком и светить тем немногим, которым еще нужен и важен свет не только для рыбной ловли. А эта самая жизнь, которую мы не знаем, пусть себе устраивается как хочет, наше дело светить. А если сам недостаточно светел — сходи в церковь, покайся. И дальше свети. И пусть лучше с меня никогда не снимут диагноз, пусть я буду сидеть в своей идеальной башне, постоянно терпя катастрофы и обвалы, чем приму запыленный, утомленный взгляд людей, «знающих жизнь».

...Я ему говорю: «Пашенька, я же грешила много». А он отвечает: «Во всех это есть, но далеко не все могут, как Вы, нести свет. Свет во тьме светит.

И вообще все наоборот: это они, а не мы, сидят в башне. Каждый в башне из своего панциря. А на нас просто нет никакой брони». Вот последние друзья ушли от Паши (предварительно выкачав из него всю энергию, идеи, мы ели), усмехнувшись на прощанье, что, естественно, «он жизни не знает».

Тысячи раз слышали я и мои соратники это откровение. И никто ведь не скажет: «Ты не знаешь жизни — а она такая прекрасная!» Нет, сама фраза уже содержит в себе обвинение жизни.

Меня не покидает чувство, что с детства меня ведут, переплетаясь, две силы, пронизывая меня — как два крыла, как две ветви: черная и белая. Черную можно назвать чувственностью, страстью, похотью, белую — любовью. Я знала, что черную в себе надо убить, растоптать, но я думала перехитрить ее и просто всю эту мощную энергию каким-то образом перевести в белую. И общение с Юрой меня к этому подталкивало. Но главный путь шел через лабиринты больниц. Мне даже кажется порой, что меня ведут по какой-то крутой лестнице: когда приступ (то есть бред) — это горение, сгорание, вспышка, затем спустя некоторое время опять депрессия, а за ней — ступень, оказавшись на которой, обнаруживаешь все меньше и меньше черного в себе, оно-то и сгорает. Белое — крепнет.

...А в последний раз в бреде явился «хозяин». Властелин. Он, кажется, каждый раз являлся, но его-то я и забывала. Он был Властелином — в общем, вел себя как прежние секретари

обкомов в своих лесных домиках или теперешние мафиози (временная оболочка тут не важна), этот приперся из времен Тараса Бульбы. Ему надо было угождать, а еще ему, если не ошибаюсь, нужна была я. Мама хитростями и угощениями отвлекала его внимание, а спасла меня Галя Положевец, жена моего друга, она просто легла со мной, и Властелину было сказано, что место занято. Уж не помню, но как-то он испарился. А всю ночь, пока это происходило, я твердила маме: «Ну пусть же он зайдет, я же знаю: Юра — в прихожей».

«Встань, посмотри сама», — отвечала мама. Но это я воспринимала, как какую-то очередную ее хитрость.

...На утро мама удивлялась, почему я на нее со злостью смотрю и называю на «Вы». Мне, правда, довольно скоро пришло в голову, что никого она не обслуживала, а просто уже которую бессонную ночь дремала с больной дочерью. Может, все это и происходило в каком-то там измерении, но бейте меня, режьте на куски — в прихожей стоял Юра! Даже если он сам этого не знает. Даже если это просто измерение моей мечты.

Я верю: если в моих мучениях и спасениях тебя не было, Юрка, то тогда, значит, в той прихожей был Гарри. Гарри, которого нигде нет, кроме моей души.

Тут матушка, прочтя эту фразу, строго спросила: ты же это только для книги? Ты же знаешь, что никого в прихожей не было?

Люди добрые, люди хорошие — не убивайте!

Не убивайте моей веры в то, что где-то там или совсем близко, или вовсе в других мирах, но он все-таки стоит в прихожей.

То ли Гарри, то ли Юра — словом, Тот, Которого Нет... Просто не решается войти. Но вы тоже верьте: он может войти. В любую минуту.

Та, Которая Есть

...И вот я опять сижу на даче. Жара, июль. К рукописи не прикладывалась три года, ибо Сашка Фурман (Фур, Фура) разнес ее в пух и прах. Сколько, говорит, можно туда-сюда из депрессии в подъем бегать (маниакалов у меня давно уже нет) и вообще, надо писать не «я», а — «она». Ему хорошо, он роман выпустил, который так и называется: «Книга Фурмана». О детстве своем с младенчества: Фурман встал, Фурман пошел, Фурман покакал... Так у него же направление такое — «новый реализм», а у меня — всего лишь, очевидно, «искренний сентиментализм», который, по словам М. Эпштейна, должен придти на смену постмодернизму. (От скромности я не умру.) Впрочем, Олег (бывший муж), работающий в журнале «Вопросы литературы», сказал, что вещица моя — премиленькая (он даже назвал сию повестушку превосходной), и заявил, что жанр для нее в литературе, оказывается, уже есть: называется «человеческий документ». Документ — так документ, человеческий — и на том спасибо. Но после фурмановского разгрома я была безутешна...

Спасибо тебе, Борис Минаев, что ты опять меня спас. Явился вчера (мы соседи на даче) и сказал, что вещь замечательная (или что-то в этом роде), но надо дописать концовку. Вот я и пишу. А еще раньше, при выходе из депрессии, я вдруг ощутила, что она — последняя. Ни маме, ни сестре не сказала. Сказала лишь Фуру и тебе, Борька. Ну дай-то Бог.

Если депрессия опять не нагрянет — напишу вторую — «Та, Которая Есть». О том (и тех)

удивительном чудесном, что помогало мне выздоравливать. А пока все эти симптомы обнадеживающие оставлю при себе. Кстати, и Руденко Инна Павловна (обозреватель «Комсомолки» и старший мой друг), и Раюшкин в один голос твердят, что вот-вот моя циклотимия выдохнется, годам к пятидесяти уж это точно. А сейчас мне — сорок восемь.

Ну что ж, можно и подождать еще маленько в крайнем случае. Тем паче, что в Борькином журнале «Огонек» (он там зам. главного редактора) сказано, что существует пять признаков, симптомов гениальности, так вот два из них у меня уже есть: высоколобость и циклотимия. Осталось всего ничего: парочка-тройка каких-то там синдромов, ну какие наши годы!..

На сим остаюсь

Вечно Ваша

С поклоном

Марина Заречная

(естественно, псевдоним)

дача, поселок Мамонтовка

по Ярославской железной дороге,

Московская область.

6 июля 1999 года.

Нет и не будет

Май 2001 года.

Разговор в приемной клиники на Каширке:

— Ну, что случилось?

— Я устала.

— От чего?

И почти хором с В.А. дружно ответили:

— От самой себя.

— Так и запишем.

(В историю болезни, вестимо.)

2 августа 2002 года.

С облегчением узнаю, что мой случай МДП неизлечим.

Пригодилась формула Владимира Леви, что есть три категории больных: психически больные, душевно больные, духовно больные.

Иногда, чтобы душе спастись, она вынуждена уходить в психоз.

Вот и все. Свобода.

Меня могут не лечить — я неизлечимая. От винта! Можно завершить дурацкую книжку эту, не дожидаясь выздоровления. Смело могу ставить в эпилог песенку Вероники Долиной:

...А советские сумасшедшие

Не похожи на остальных.

...Нет, советские сумасшедшие

Не такие, черт побери!

Им Высоцкий поет на облаке.

Им Цветаева дарит свет.

В их почти человеческом облике

Ничего такого страшного нет.

Уезжаю на дачу писать.

Уже под своей фамилией. Не темно ли вам на дороге?

Я бегу, я спешу — извините меня.

ДО встречи.

Фрези Грант

Бегущая берегом моря

Август 2004 года

Ничего не сбылось — кроме жизни

Ну что же, делать было нечего - надо было жить. Или, как говорится, ничего не сбылось, кроме жизни. А это не так уж мало. Не так ли?

И все-таки пока пишу — надеюсь. И верю в чудо. И буду продолжать свои записи...

Как подснежники из-под снега,

Загораются окна — звезды.

Значит, будет не очень больно.

И прощаться совсем не поздно

6 часов утра. 6.10.2005.

Центр психического здоровья

Марина Заречная

=====